

ВРЕМЯ ШМЫ 92 1986



ТОСКА ПО НОСТАЛЬГИИ



ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН "МЫСЛИ О ВОЗВРАЩЕНИИ"

ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

Двенадцатый год издания

**Выходит один раз
в два месяца**

**92
1986**

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1986

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	ДОРА ШТУРМАН
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ВОЛЬФАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН	ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

<i>Фридрих ГОРЕНШТЕЙН</i> Детоубийца	8
<i>Владимир МАТЛИН</i> Научная истина	71

ПОЭЗИЯ

<i>Татьяна ФИЛАНОВСКАЯ</i> Продолжение разговора	81
<i>А. ЛЕИН</i> Мечта над городом	85

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА.

<i>Генсек в тисках противоречий</i> Вокруг беседы М.С.Горбачева с членами СП СССР	93
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i> Мысли о возвращении	106
<i>Борис СЕГАЛ</i> Синдром хама, или конец нашей цивилизации	116

ПОЛЕМИКА

<i>Юрий АРАНОВИЧ</i> Любите ли вы музыку Вагнера?	137
<i>М.ШНЕЙДЕР</i> Юрий Аранович против Рихарда Вагнера	145

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

<i>Ефим Эткинд</i> Поэзия и облик истины	166
---	-----

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

<i>Леонид ГРОССМАН</i> Исповедь одного еврея	187
---	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

<i>Павел ПАГАНУЦЦИ</i> Дочь царя или самозванка?	217
---	-----

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

<i>Эдгар</i>	236
------------------------	-----



Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

ДЕТОУБИЙЦА

*Драма из времен Петра Великого,
в трех частях, двадцати пяти сценах*

ОТ АВТОРА

Приступая к работе над драмой петровского времени, я не ощущал тяжести материала. Наоборот, его обилие и разнообразие манили. Попавшая мне первоначально в руки книга исторических очерков петровского времени Михаила Петровича Семеновского содержала такое обилие характеров, сюжетов, идей, что, казалось, при моем многолетнем профессиональном опыте драматурга, ею одной можно было ограничиться.

"Оставим великих людей, — советовал Семеновский, — для них есть историки патентованные. Сойдемся возможно ближе с мелким людом того времени. Ведь эта "мелочь", эта забытая историками толпа — основание картины, ведь без нее она мертва, она не имеет смысла."

Это был дельный и мудрый совет — показать переломную для России и для всей Европы эпоху Петра через "винтики", через простой люд. Такой подход был свеж и не затоптан многочисленными историческими и художественными писаниями.

Вдохновленный таким своеобразным решением, подсказанным мне человеком опытным и авторитетным, я отважно бросился в пучину своего замысла, рассчитывая закончить работу в два-три месяца. Увы, удачный замысел был погублен тем, кто его породил, то есть М.И. Семеновским и его книгой. Точнее не текстом, а многочислен-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ISSN 0737 7061

ными сносками, комментариями, справочным материалом, все более усложняющим, тормозящим ясный, динамический текст.

Напрасно я пытался уверить себя не уклоняться слишком далеко, напрасно вспоминал, что М.Булгаков писал о Пушкине, оставив самого Пушкина за сценой. Лишь в конце спектакля через сцену проносят некоего, загримированного под Пушкина, смертельно раненого и потому бессловесного. Нет, у меня с "бессловесным" Петром ничего не вышло. Мой Петр, вопреки авторскому замыслу, решительно вышел на сцену, и мне пришлось идти путем, хоть и не своеобразным, но достаточно тернистым.

Комментарии Семеновского увели меня к многочисленным книгам о петровской эпохе. Сочинения Крекшина, дневники и записки Нащокина, Гордона, Штелина, Феофана Прокоповича, ставшего одним из действующих лиц моей драмы. Дальше — больше. Толстые тома Голикова, Устрялова... Остановиться было невозможно. Минуты запланированные три месяца, минуло полгода... Ключевский и особенно Соловьев внесли стройность в прочитанное, больше материал не лежал грудой интересных, но пестрых фактов; смутно замелькали какие-то сюжеты, какие-то начала и концы, пока еще многочисленные, друг другу противоречащие.

Однако перелом наступил лишь после работы над письмами Петра, Алексея и прочих действующих лиц, ибо письма — это уже не история, а литература со своим стилем, сюжетом, языком. Язык петровской эпохи помог мне преодолеть отчаянное сопротивление исторического материала, русский язык, наполненный украинизмами, точнее славянизмами. Говорили: приклад, а не пример; кут, а не угол; николи, а не никогда... Это был язык еще не стандартизованный, не оболваненный государственной бюрократией и не опошленный с другого конца блатным жаргончиком второй власти — криминального элемента, который стремится подчинить себе в России все, что осталось не подчиненным власти государственной. Но в петровскую эпоху разбойники еще говорили на таком же поэтическом языке, как и вельможи. Впрочем, может, язык петровской эпохи был слишком необработан, фольклорен, может, он требовал известного обновления и обогащения, может, на языке этом еще нельзя было написать "Евгения Онегина".

Вершины своей язык достиг в пушкинское время, время гармонии меж фольклорным и культурным элементом. Однако сегодняшнему российскому человеку, полностью поработанному имперскими потребностями, независимо от того, имеет ли он верховную власть или находится в низах общества, свободный язык той эпохи должен напомнить счастливое доимперское время, когда Россия была еще славянской страной и жила не имперскими, а своими национальными интересами. Язык петровской эпохи подсказал мне и основной нерв задуманной драмы — трагическую схватку между национальным и имперским, между Алексеем и Петром.

Противопоставление того, что ныне в российских имперских националистических кругах, государственных и оппозиционных, стремятся объединить. Впрочем, такая тенденция существовала еще во времена Аксакова и Достоевского. Но принимать империю, принимать "единую и неделимую" и в то же время отвергать петровские реформы, отвергать Петра, создателя империи — это абсурд. Царевич Алексей был за национальные корни, но он был против империи.

Ломоносов писал о Петре: "За великие к Отечеству заслуги он назван отцом Отечества". Да, это так. Петр — отец великой России, отец великого города Петербурга, но это отец, окропляющий алтарь своего божества — Российской империи кровью детей, своих и чужих. Это отец, берущий на себя во имя преобразенной России тяжелый грех детоубийства.

Характер Петра и тема, безусловно, эпические. "Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат". Однако возможен и иной путь, подсказанный первоначальным замыслом, который явился вновь, когда был накоплен черновой материал, едва уместящийся в несколько пухлых папок. "Великих людей" и "великие события" рассмотреть не эпически, а камерно, через комичное и лиричное. Воссоздать эпоху не из тленной меди, а из тленной плоти.

На эту работу ушло полтора года тяжелого труда, труда, от которого временами я хотел отказаться, разорвав рукопись на мелкие клочки. Такое в более чем двадцатилетней литературной практике случилось со мной впервые.

Теперь любят повторять остроумное булгаковское изречение — "рукописи не горят". Можно понять афоризм Булгакова, но можно понять и Гоголя, сжегшего свою мучительницу-рукопись. О духовных силах Гоголя говорить не приходится, но, мне кажется, ему не хватило самых обыкновенных физических сил, тех сил, которые нужны землекопу или каменщику. И когда в декабре 1985 года я наконец поставил точку, то прежде всего испытал радость человека, тяжело и честно поработавшего. Признаюсь, испытал я и творческое удовлетворение. Я сделал все, что мог, я истратил до конца свои духовные и физические возможности.

Пока рукопись не окончена, она беспокоит, как нерадивое или больное дитя, днем ли, ночью ли. Но когда дитя вырастает и крепнет, беспокоиться о нем все реже, ибо ждут другие, еще хилые или неродившиеся. А на взрослых, которым отдано так много сил и времени, смотришь со стороны и думаешь: "Эти не подведут и не опозорят меня".

Фридрих Горенштейн

ДЕТОУБИЙЦА

Сцены из драмы

Часть первая: "На уме и вне ума"

Часть вторая: "Под утайкой"

Часть третья: "Колодничи палаты"

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ — император России

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА — императрица

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ — наследник престола

МАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА — царевна, сестра Петра Алексеевича

ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА — бывшая царица, первая жена Петра Алексеевича

ТОЛСТОЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ — начальник тайной канцелярии, шеф тайной полиции

ШЕФИРОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ — вице-канцлер, шеф чужеземной коллегии

МАРИЯ ДАНИЛОВНА ГАМИЛЬТОН — камерфрейлина императрицы

ОРЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - денщик императора

ЕФРОСИНЯ (АФРОСИНЯ) ФЕДОРОВНА — крепостная девка, любовница Алексея

ГЛЕБОВ СТЕПАН БОГДАНОВИЧ — майор гренадерского полка, любовник Евдокии Федоровны.

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ — капитан гвардии

КНЯЗЬ МЕЩЕРСКИЙ — поручик гвардии

КНЯЗЬ ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ

КИКИН АЛЕКСАНДР — бывший денщик императора, чиновник адмиралтейства.

ВЯЗЕМСКИЙ НИКИФОР КОНДРАТЬЕВИЧ — учитель Алексея Петровича

ИВАН БОЛЬШОЙ АФАНАСЬЕВ — слуга Алексея Петровича

ИВАН МАЛЫЙ АФАНАСЬЕВ — слуга Алексея Петровича

ЯКОВ НОСОВ — слуга Алексея Петровича

ЧУРКИН — повар царицы Марьи Алексеевны

МИХАЙЛО БОСЫЙ — богомол

КАПТЕЛИНА — старица Суздальского Покровского монастыря.

АГАФЬЯ — старица Суздальского Покровского монастыря

АННА КРЕМЕР — экономка фрейлины Гамильтон

КАТЕРИНА ТЕРНОВСКАЯ — горничная фрейлины Гамильтон

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВ — конюх

ДИОСИФЕЙ — архимандрит Суздальского Покровского монастыря

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ — архиерей Псковский

ЯКОВ ИГНАТОВ — протопоп Верхнеспасского монастыря, духовник Алексея

МАКАРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — кабинет-секретарь императора Петра Первого

ФЕОФИЛАКТ ШАПСКИЙ — шут, он же обер-палач — обер-кнут-мейстер

АКСИНЯ ТРОФИМОВА — шутиха

ГЕРЦОГ ГОЛЬШТИНСКИЙ

ГРАФ ШЕНБОРН — австрийский вице-канцлер

ДОЛЬБЁРГ — референт-докладчик австрийского императора Карла VII

ГЕРЦОГИНЯ ВОЛФЕНБИТЕЛЬСКАЯ

ГРАФ ДУАН — вице-король Неаполитанский

ВАЙНГАРД — секретарь Неаполитанского вице-короля

ПЛЕЕР — посланник (резидент) австрийского двора в Петербурге

ПРУССКИЙ, ГАНОВЕРСКИЙ, ГОЛЛАНДСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, КИТАЙСКИЙ ПОСЛАННИКИ В ПЕТЕРБУРГЕ

ГАБРИЭЛЬ — шведский пленный

МУСИН-ПУШКИН

МАРЬЯ ПУШКИНА

СЕЛИВЕРСТ — монах-книгописец

АРТЕМИЙ — товарищ Селиверста по острогу

НЕГРИТЕНОК — слуга Петра Алексеевича

МУЖИКИ, ПОСАДСКИЕ, МЕЩАНЕ, СОЛДАТЫ И ПРОЧИЙ
РАЗНОЧИННЫЙ НАРОД ИМПЕРИИ РОССИЙСКОЙ

Время действия: 1717-1719 годы. Финал — 1725 год.

Место действия: Петербург, Москва, Суздаль, Вена, Неаполь.

В драме, по возможности, сохранены устная речь и грамматика петровского времени.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НА УМЕ И ВНЕ УМА

Сцена 1

Тюремные покои Кремлевского дворца. В столовой комнате два камердинера царевича Алексея Петровича, Иван Большой Афанасьев и Иван Малый Афанасьев, занимаются утренней уборкой.

ИВАН МАЛЫЙ АФАНАСЬЕВ. В Успенском к чистой обедне звонят, а его величество государь-царевич Алексей Петрович все почивают. Уж черный народ с обедни идет, уж чистую публику созывают на молебен.

ИВАН БОЛЬШОЙ АФАНАСЬЕВ. Вчерась царевич допоздна был в гостях, где не знаю, приехал домой хмелен, взял меня в спальню и стал с сердцем говорить: Меньшикову, да Толстому, да Гавриле Ивановичу Головкину с детьми их и женами, разве что умру, то не заплачу. Быть их головам на кольях. Я ему молвил: царевич-государь, изволишь сердито говорить и кричать. Кто услышит и понесет им. Он мне молвил: я плюну на них, здорова бы мне была чернь. Когда будет мне время без батюшки, я шепну архиереям, архиереи приходским священникам, а священники прихожанам. Тогда уж мне доверять будут, которые Отечеству в тягость.

ИВАН МАЛЫЙ АФАНАСЬЕВ. А вы как же?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Я как же? Я стою и молчу. Посмотрел на меня царевич долго и пошел молиться. Я пошел к себе.

Входит камердинер Яков Носов.

ЯКОВ НОСОВ. Гутен морген. Чего подельваете?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Рассуждаем.

ЯКОВ НОСОВ. Поздно государь-царевич почивает, гневлив проснется. И вчерась весь день сердитовал. Никифору Кондратьевичу Вяземскому, учителю своему, снявши парик, вцепился в волосья. *(Смеется)*.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Прошлый год в сенях у государыни Екатерины Алексеевны его величество Алексей Петрович во все Никифора Кондратьевича наземь повалили и изволили ногами пинать. *(Смеется)*.

Слышен хриплый крик из спальни: Иван!

ИВАН БОЛЬШОЙ. Ваше Величество государь-царевич, которого Ивана кличите? Большого или Малого?

Алексей показывается в дверях в шлафроке и ночном белом атласном колпаке, мятый, заспанный, зевая и потягиваясь. Камердинеры кланяются.

АЛЕКСЕЙ. Здорово, молодцы, Иван Малый Афанасьев, где ты, курвец, зубной порошок поклат?

ИВАН МАЛЫЙ. Ваше величество государь-царевич, глянуть надобно в мешочек бархатный, который в скрыне жестяной маленькой.

АЛЕКСЕЙ (*зевает*). Поди глянь. Да постелю прибери. (*Иван Малый торопливо уходит в спальню*). Время которое?

ИВАН БОЛЬШОЙ. В Успенском уж чистую обедню отзвонили, Ваше величество.

АЛЕКСЕЙ. А день который?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Ваше величество, это ноне сообразить тяжко. Бог сотворил землю в сентябре, а государь-батюшка Петр Алексеевич изволили солнечное течение переменить на генварь, дни перепутав.

ЯКОВ НОСОВ. Ваше величество, государь-царевич, месяца июня тринадцатый день по новому календарю.

АЛЕКСЕЙ, (*думая о чем-то про себя*) Истинно, истинно тринадцатый... Ты, Яков Носов, поди, мне с Иваном Большим словом надобно перемолвиться. Да, скажи повару и хлебнику, что я уже пробудился.

ЯКОВ НОСОВ. Ваше величество, государь царевич, который камзол подавать да штаны которые?

АЛЕКСЕЙ. Камзол да штаны подавай суконные, песочные.

ЯКОВ НОСОВ. А галстух?

АЛЕКСЕЙ. Галстух флеровый, черный.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Ваше величество, государь-царевич, в сием одеянии вы вчера изволили от гостей воротиться и ныне оно отдано в стирку и починку.

АЛЕКСЕЙ. Тогда подай галстух кисейный, а камзол парчовый, золотой по зеленой земле. (*к Ивану Большому*) Никифор Вяземский али брат его, Сергей, не являлись?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Никифор Кондратьевич с утра быть изволили, коли ваше величество почивать изволили.

АЛЕКСЕЙ. Яков, пошли к Вяземскому на Покровку... Нужно мне спешно.

ЯКОВ НОСОВ. Слушаюсь. А которую шпагу подавать? С медным эфесом али с вызолоченным?

АЛЕКСЕЙ. Подай кортик с эфесом серебряным, гриф которого оклеян ящером.

ЯКОВ НОСОВ. Слушаюсь. (*уходит*)

АЛЕКСЕЙ (*подходит к Ивану Большому*) Не досадил ли я вчера кому?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Мне от вас, ваше величество, никакой досады и тесноты не было.

АЛЕКСЕЙ. И не говорил ли я вчера, пьяный чего?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Говорили, что, как без батюшки время будет, на кол Меньшикова, да Толстого, да иных прочих посадите. Лишь бы, говорили, была бы вам чернь здорова.

АЛЕКСЕЙ. Кто пьян не живет? У пьяного всегда много лишних слов. Я поистине себя очень зазираю, что я пьяный много сердитую и напрасных слов говорю много. А после о сем очень тужу. Ну, что ж ты стоишь и задумался?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Что мне, государь, говорить?

АЛЕКСЕЙ. Ты чтоб этих слов моих напрасных не сказывал, а буде ты скажешь, ведь тебе не поверят. Я запрუსь, а тебя станут пытать (*смеется*).

ИВАН БОЛЬШОЙ. Ваше величество, государь-царевич, что мне до этого дела и кому сказывать?

АЛЕКСЕЙ. То-то, гляди.

Появляется Яков Носов с одеждой и кортиком. Алексей уходит с ним в спальню. Иван Большой достает с полок-поставцов посуду и расставляет ее по столу. Входит Вяземский.

ВЯЗЕМСКИЙ. Государич при доме ?

ИВАН БОЛЬШОЙ. При доме и сейчас изволят выйти.

ВЯЗЕМСКИЙ. А более никого?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Никого. Одна обслуга домашняя.

АЛЕКСЕЙ (*быстро входит в камзоле, парике и при кортике*). Я тебя услышал, Вяземский. Здравствуй.

ВЯЗЕМСКИЙ. Доброго здравия желаю, государич. Ты меня сегодня не ожидал?

АЛЕКСЕЙ. Как не ожидал, послано за тобой на Покровку, да ты, слава Богу, сам прежде явился.

ВЯЗЕМСКИЙ. Сего дня, государич, ты должен был учиться геометрии, фортификации и сферическим наукам у инженера Фридриха Галибартона, однако ж оный инженер,

вчера из каляски выпав, руку вывихнул и переломил и чаёт он, что она болезнь продолжится.

АЛЕКСЕЙ (*досадливо морщась*). Все у тебя, Вяземский, геометрия да сферические науки. Ты, Вяземский, не человек, а циркель.

ВЯЗЕМСКИЙ. Для того я и приставлен государем Петром Алексеевичем.

АЛЕКСЕЙ (*нетерпеливо перебивает*). Купчую на Афросинью и брата ее, Ивана, принес?

ВЯЗЕМСКИЙ. В крепостях братних, которые у него в Москве, купчей не найдено.

АЛЕКСЕЙ (*сердито*). Я ж приказал брату твоему, Сергею Вяземскому, сыскивать.

ВЯЗЕМСКИЙ. Государич, благословен и многосчастлив тот, которого Бог наделил честной женой, каковой была ныне почившая в Бозе законная супруга ваша кронпринцесса Шарлотта.

АЛЕКСЕЙ (*вспылив*). Я тебя, Вяземский, уже бивал шлепами, аки блудну овцу.

ВЯЗЕМСКИЙ. Государич, крепостную сию, работную девушку мою, Афросинью Федоровну, в недоумении лишь можно созерцать при вашем величестве, от которого по смене на престоле вами батюшки вашего зависеть будет счастье и польза столь многих миллионов душ человек русских.

АЛЕКСЕЙ. А мое счастье, Вяземский, как же? Моя польза? Ведь и я среди миллионов русских душ свою душу имею. Так ведайте же, что я на Афросинье женюсь. Ведь и батюшка мой такое учинил. Я, однако, прежнюю жену мою законно похоронил, а батюшка мой с матушкой моей развелся, в Суздаль заточил и с ливонской крестьянкой живет Мартой Скавронской, переименованной в русскую царицу Катерину.

ВЯЗЕМСКИЙ (*испуганно*). Государич, ваше величество, допустимы ли такие беспокойные рассуждения об особе царствующей, Божьей помазаннице.

АЛЕКСЕЙ (*насмешливо*). Уж помазанница Божья. Три веры сменила, как чулки шелковые, парижские. Была спер-

ва в лютерстве, потом в католицизме, а ноне в православии.

ВЯЗЕМСКИЙ. Государич, ваше величество, ноне за такими речами смотрят.

АЛЕКСЕЙ. Кто смотрит?

ВЯЗЕМСКИЙ. Государево око.

АЛЕКСЕЙ. Это значит генерал-прокурор, Павел Иванович Ягужинский? Так ведь он в прежние времена в Литве босой свиней пас, а ноне по своему произволу и капризу с законной женой развелся и вступил в брак с другой. Он что ли меня осудит?

ВЯЗЕМСКИЙ (*оглядываясь на Ивана Большого*). А все ж побережись не лишнее. Ноне такие времена, что холопы на базар извет несут и известные деньги получают. Хамово колено.

АЛЕКСЕЙ, (*сжав кулак и поднося к носу Вяземского*). Ты мне про русского нашего простолюдина такое не моги. Кожный наш крестьянин да посадский есть души нашей одушевленный ком. А ты кто? Никишко Вяземский, некто званием от последних (*видя, что Вяземский стоит, втянув голову в плечи, ожидая тумачков, остывает и говорит спокойней*). Циркель ты немецкий. Все делаешь с примеру сторонних, чужих земель. Ну, скажи, Вяземский, чем жена английского конюха, швейцарского пастуха, немецкого солдата лучше, добронравней жен наших приказчиков, дворецких, конюшинных? Чем серый попугай лучше певчего скворца? Нет, более я не желаю, чтоб меня бес сватал, а сатана венчал.

Входит Яков Игнатов.

ЯКОВ ИГНАТОВ (*слыша последние слова Алексея*). Радостно мне сие слышать, государь-царевич. Хорошо, что наследства без любви не хочешь. Через одно лишь золото слезы не текут ли?

АЛЕКСЕЙ (*сразу посветлев лицом*). Отец Яков! Ух как я без тебя истомился. Ух как ожидал. Я ни к кому, кроме тебя, духовника моего, исповедоваться не хожу, а накопилось много, душа тяжела. Изнемогаю. (*Целует Якову руку*). Ноне те, кто должны исцелять, душу портят. Вот Невского архиман-

дрита батюшка любит, видно, за то, что вносит в народ лютерские обычаи.

ЯКОВ ИГНАТОВ *(целует царевича в лоб)*. Я только из Киева. Был у киевских чернецов. Кланяются они тебе и книги посылают: "Камень веры" и иные. И Киевский Печорский архимандрит тебе кланется. И от чернецов Михайловского монастыря тебе поклон. Ждали тебя, да не приехал.

АЛЕКСЕЙ. Велено мне в Москве быть до зимнего пути. Два человека на свете, как боги: Папа Римский да царь Московский.

ЯКОВ ИГНАТОВ. Не царь Московский, а император Петербургский. Сей иноземный титул не соединим с понятием о русском государе-царе-батюшке. И не токмо в Великороссии, но и в Малороссии мужики-хохлы говорят: черт знает, кто такой ваш император. Мы знаем праведного государя, за которым хлеб и соль едим.

ВЯЗЕМСКИЙ. Сии непристойные слова оттого говорят, что по простоте своей не знают, что его величество соизволил зваться императором. Оттого и воспитатели важны, духовные и светские.

АЛЕКСЕЙ. Молчи, Вяземский, молчи... Христом Богом молю, молчи... *(К Якову)*. Мне, отец Яков, сегодня сон снился. Ангел велит мне пойти в церковь. Вижу, в церкви на алтаре сидит монах. Монах меня благословляет и говорит: "Вера тебя спасет. Не ропщи, сноси все с терпением, полагайся на Бога".

ВЯЗЕМСКИЙ. Доктора доказывают, что сон есть произведение обремененного, слабого желудка, раздраженных нервов, паров, кои поднимаются к голове, теснят мозг, приводят в действие воображение и расстраивают сон, определенный всякому животному для восстановления истощенных буденных сил.

АЛЕКСЕЙ. Все это, Вяземский, пустословие. Ни один доктор не знает причины действия нервов, оттого, что анатомы тела мертвые, в коих жизненного движения уже нет. Я анатомов, особливо чужеземных, на кол бы сажал. Батюшка же

мой шибкий любитель мертвого. В Амстердаме, в анатомичке заметив, что некоторые из его свиты брезгают разрезанными мертвецами, велел им зубами разгрызать мертвые тела. А коли лекари резали помершую жену мою Шарлотту, батюшка стоял и наблюдал и ковырялся в ее кишках. *(С брезгливостью и скорбью отворачивается к окну)*. Я сего не видел, ибо в обмороке лежал. Мне сие поведали.

ВЯЗЕМСКИЙ. Однако же нельзя противречить анатомии — науке важнейшей, процветание имеющей в лучших университетах немецких, французских, датских и прочих. Вот недавно было в курантах, что какой-то галл открыл, будто мозг в черепе сложен, как салфетка, и что его можно развертывать.

АЛЕКСЕЙ. Поди прочь, Вяземский, надоел ты *(вспылив)*. Поди прочь, сука, блядь!

ВЯЗЕМСКИЙ. Ты, государич, от двора отказывать мне не можешь, поскольку я определен именным указом государя *(уходит)*.

АЛЕКСЕЙ. Устал я, отец Яков, нервами заболел. Батюшка меня в Москву отпустил, как бесполезную вещь, и отсюда я без его слова выйти не могу. Батюшка хотел сделать меня солдатом и утвердить во мне вкус к жестокому ремеслу. А я мори не люблю, войну не люблю.

ЯКОВ ИГНАТОВ. Дед твой, Алексей Михайлович, тишайшим прозывался, а православие от унии защитил, Киев добыл. Ныне же столько русской крови льется из-за гнилых шведских болот.

АЛЕКСЕЙ. В чем же спасение?

ЯКОВ ИГНАТОВ. В перемене царствования. Церковь находит только в этом путь высшего спасения. Надо лишить отца трона.

Входит Иван Большой.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Повар и хлебник спрашивают, подавать ли?

АЛЕКСЕЙ. Закуски ставь, а с горячим погоди. Я исповедаться должен.

Уходит с духовником в спальню.

ИВАН БОЛЬШОЙ *(сам себе)*. Царевич великое имеет горяче-ство к попам. *(Начинает расставлять по столу бутылки и блю-да)*.

Входит Афросинья, лет восемнадцати, светловолосая, маленького роста.

АФРОСИНЯ *(К Ивану Большому)* Командинер, прынчик здесь?

ИВАН БОЛЬШОЙ. В спальне.

АФРОСИНЯ. Я к нему иду.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Не один он.

АФРОСИНЯ *(встрееоженно)* И кто же при нем?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Духовник.

АФРОСИНЯ *(успокаиваясь)*. Тогда я посижу *(садится к столу)*. Табаком воняет.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Верно, у меня славный табак, хорошо стертый, но не для твоего носа. *(Набивает нос табаком)*.

АФРОСИНЯ. Вот я скажу про тебя слово прынчику. Будет тебе на каленые орешки. Вот я на столец поклала баулец, видишь?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Ну вижу.

АФРОСИНЯ. Возьми из баульца мое дамское махальце, да подай. *(Иван Большой подает. Афросинья обмахивается)*.

Ты, командинер, по виду человек не ласковый, и мне до тебя ни дела, ни нужды никакой нет.

Иван Малый вносит блюда с закуской и калачами. Афросинья берет калач, намазывает его икрой, кусает.

АФРОСИНЯ. Надо б в поварню передать, пусть пришлют мне в деревню икры паюсной, черной и красной, икры зернистой, семги, сняточков... Слышь, командинер, передай в поварню.

Из спальни выходят Алексей и Яков Игнатов. Лицо Алексея залито слезами.

ЯКОВ ИГНАТОВ *(продолжает с сердцем)*. Всякое благочестивое христианское доброе дело единым словом — суеве-рием названо. И кто в них, в еретиках, был пушций пьяница и нахал, и сквернослов, и шут, тот зван и вмняем в простосер-дечного и благочестивого человека. Кто ж хоть малопостник или воздержник и богомольный человек, тот зван расколь-щик и лицемер, ханжа. Ныне пьянствуют и мясо сплошь едят и вместо книг в кельях и церквах табакерки в руках держат и непрестанно прошок нюхают. Церковную и монастырскую казну забрали себе на свои роскоши, на дорогие напитки, на музыки с танцы и на карты с товарищи. Чудотворные иконы отвсюды забрав на гнойных телегах, под скверными рогожа-ми увезли. Весь российский благочестивый народ плачущими очима, с болезнью сердца зрит злодейства.

АФРОСИНЯ. Прынчик!

АЛЕКСЕЙ. Афросиньюшка! Друг мой сердешный! *(Бро-сается к ней. Они обнимаются и целуются)*. Здравствуй, ма-тушка моя... Отец Яков, это моя Афросиньюшка.

ЯКОВ ИГНАТОВ *(обнимает и целует обоих)*. Счастья вам. *(Крестит их и уходит)*.

АФРОСИНЯ. Друг мой, какая радость. Господь по жела-нию нашему радость возвещает о сочетании нашем. А зло да-лече от нас отженет. Вот люди твои дворовые тогда уж меня почитать будут.

АЛЕКСЕЙ. Молодцы! Говаривал вам прежде и ныне под-тверждаю. Будьте к жене моей почтительны и утешайте ее, чтоб не печалилась.

АФРОСИНЯ. Да пушай в поварне скажут, чтоб прислали мне в Ладожские Рядки икры паюсной, черной и красной, ик-ры зернистой, семги соленой и копченой и всякой рыбы, а ще малое число сняточков белозерских и круп грешневых.

АЛЕКСЕЙ. Слыхали, собаки? Чтоб все исполнить. Будьте Афросинье послушны.

АФРОСИНЯ. Прынчик мой, батюшка мой, хочу с тобой слов с пяток на глаз молвить.

АЛЕКСЕЙ. Подите, молодцы, подите. Да пушай никто не заходит, пока не позову. *(Иван Большой и Иван Малый уо-дят)*.

АФРОСИНЬЯ. Ты, батюшка, когда впервой приехал с Вяземским к нам в Ладожские Рядки, помню, заметила я в первый день, что часто на меня глядишь.

АЛЕКСЕЙ. Глядел часто с первого взгляда.

АФРОСИНЬЯ. Я хотела знать причину. Помню, пришел ты ко мне, я допытывать стала, какова причина.

АЛЕКСЕЙ. А причина та, что люблю.

АФРОСИНЬЯ. За что ж меня любить?

АЛЕКСЕЙ. За то, что ты мила и того стоишь. Помню, уехал и вдруг письмо: приезжай, буду потчевать вареньем. Письмо-то мне фельдкурьер в Сумы привез, в Малороссию, куда я с князем Меньшиковым по важным делам был послан. Все дела бросил, больным сказался и к тебе прискакал. *(Целует Афросинью)*. Только с тобой, Афросинюшка, вкусил я любовную лихорадку. Жена моя, ныне помершая, прусская крон-принцесса Шарлотта, была женщина злая, мало красивая, рябая, с талией длинной и лицом плоским. К тому ж не православная, а лютерской веры. Чужая мне во всем, хоть двоих детей прижили. Как не прийду к ней в спальню, ругается на меня, чертовка. И неверна мне оказалась, слух есть, изменила с бароном Левенвольдом.

АФРОСИНЬЯ. Прынчик мой бедный. *(Гладит Алексея по голове и лицу)*. Никто-то тебя не любит, даже и батюшка родной.

АЛЕКСЕЙ. Как родила новая царица Екатерина Алексеевна ему детей, дочерей Анну и Елизавету, а особливо младенца Петра Петровича, так стало мне совсем худо. Уж на младенческую голову Петра Петровича вместо чепца корону примеряют, да вместо ночного горшка престол подставляют.

АФРОСИНЬЯ. Чего ж грустить, прынчик. Благородством Екатерина меня не выше, читать-писать не умеет, я ж и читать и писать могу. А рожать детей тем более. Да не таких хлипких, не чахоточных, как прынц Петр Петрович. Наши ладожские младенцы крепкие.

АЛЕКСЕЙ *(вглядывается в лицо Афросиньи)*. Афросинюшка, ты это к чему? Неужто?

АФРОСИНЬЯ. Чреватая.

АЛЕКСЕЙ. Афросинюшка! *(Целует ее в беспамятстве. Целует ей руки, падает перед ней на колени, целует ноги и живот ее)*.

АФРОСИНЬЯ *(смеясь)*. Я его уж Селебеном, для шутки, прозвала. Малым Селебеном. Ты, когда крупы и икру мне слать будешь, вели прислать мех лисий черевый для Селебенова одеяльца.

АЛЕКСЕЙ *(радостно)*. Пришлю, чего хочешь и что в силах. У меня двое детей по погребении Шарлотты осталось на воспитании у госпожи Ро. Им на содержание в месяц выходит от меня сто десять рублей. Одначе на престоле после себя хочу видеть наследника, порожденного любимой женщиной, а не злой лютеранкой. Селебена Алексеевича, самодержца всея Руси, Божьей милостью царя православного.

АФРОСИНЬЯ. Для того я пришла, чтоб сказать тебе сие известие и ждала, как отзовешься, с трепетом.

АЛЕКСЕЙ. Отчего ж трепет, Афросинюшка? Разве ты не веришь любви моей? От кого ж еще, как не от тебя, я сердечные слова слышал. С матерью своей девяти лет разлучен, от отца ни одного сердечного слова. Одни упреки, угрозы, иногда и побои. *(Звонят колокола)*.

АФРОСИНЬЯ. Однако поздно уж. Мне на ямскую почту пора.

АЛЕКСЕЙ. Я тебя в своей карете доставлю. Ей, молодцы! *(Входит Иван Большой)*. Передай, Иван, Якову Носову, пусть Афросинью, жену мою, в карете моей повезут куда она укажет.

ИВАН БОЛЬШОЙ. В одноконной?

АЛЕКСЕЙ. В гербовой, дурак.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Слушаюсь. Вас, царевич-батюшка, внизу майор Глебов да господин Кикин дожидаются.

АЛЕКСЕЙ. Пусть идут. *(Целуется с Афросиньей. Афросинья уходит. Алексей подходит к накрытому столу, наливает себе водки, выпивает. Входят Александр Кикин и Степан Глебов. Кикин в штатском, а Глебов в армейском мундире. Алексей обнимается с ними)*. Рад твоему приезду, Кикин. Сегодня духовник мой, отец Яков, из Киева вернулся да ты из Европ. Веселей мне стало. Каковы ноне Европы?

КИКИН. По всем Европам не бывал. В Вену наведалься, да в Италии мимоходом.

Разговаривая усаживаются за стол. Иван Малый разливает водку. Выпивают, закусывают.

АЛЕКСЕЙ. Кого-либо в Вене видывал?
КИКИН *(тихо)*. Об сем после.

Иван Малый снова разливает, снова выпивают и закусывают.

ГЛЕБОВ *(указывает на Ивана)*. Проворный малый.

АЛЕКСЕЙ. Именно, что Малый. Их у меня в камердинерах двое Иванов Афанасьевых. Тот, для отличия, Большой, а сей — Малый. Оба хитры, у обоих деньги водятся. У Большого дом свой на Покровке, у Малого дом на Сретинке. Да Малый еще костоправством промышляет.

ГЛЕБОВ. Костоправ каждому из нас понадобится может при наших-то задумках. *(Смеется)*. Ты, верно, костоправ?

ИВАН МАЛЫЙ. Так точно. С братом Гавриилом. Мы вот намедни учителя государя-царевича пользовали, Фридриха Фридриховича. С кареты выпал и руку вывихнули.

АЛЕКСЕЙ. Гляди, может сегодня утром и другого учителя попользуешь, Никифора Кондратьевича. *(Смеется)*. Поди, Иван, скажи, пусть жарких кур подают.

ИВАН МАЛЫЙ. Слушаюсь. *(Уходит)*.

АЛЕКСЕЙ. Вяземский, сука, не так учить, как смотреть за мной поставлен батюшкой-государем да государевым оберкатом Толстым Петром Андреевичем. Которого дня Толстой в застенке своем, в Тайной канцелярии крови изопьет, того дня они веселы, а которого дня не изопьет, того дня им и хлеб не естся.

ГЛЕБОВ. Поздно мы затеяли. Надобно было, когда Астрахань поднялась, стрельцы да староверы, а войско Петрово в Лифляндии завязло против шведа. Реки поднимать надобно было, Терек да Дон в подмогу Астрахани, да на Москву идти. Москва пуста была. Недаром царь Петр струсил да велел всю казну из счетного и прочих приказов увезти да в землю зако-

пать. Царь Петр трус и потому вероломен. Царевна Софья Алексеевна в лунную августовскую ночь, да будет та ночь благословенна, убийц к нему в Преображенское послала, да не повезло тогда народу российскому. Ускакал Петр без штанов, в лесу схоронился. И под Нарвой бросил армию при известии о приближении шведов, а узнавши о поражении, чтоб легче бежать, переоделся крестьянином и плакал от страха. Верно о нем саксонский генерал сказал: "Это не солдат".

КИКИН. Однако под Полтавой он вел себя храбро, и пуля пробилла его шляпу.

ГЛЕБОВ. Храбрился со страху, как картежник, который поставил все на банк и случаем выиграл. Ежели б Карл XII пошел на соединение с генералом Левенгаутом, который вез ему провиант и боеприпасы, он распотрошил бы Петра, а он вместо того повернул к Мазепе на Украину.

КИКИН. Да уж, к несчастью для России. Теперь, после Полтавы, как вернуть русскому народу жизнь мирную?

Входит Вяземский.

АЛЕКСЕЙ *(тихо Кикину)*. Я ж говорил, недалече он.

ВЯЗЕМСКИЙ. Государич, от государя-батюшки письмо мной одержано к превеликой радости, которой поделиться спешу, ибо привык всегда в поступках своих и делах ответ давать.

КИКИН. Никифор Кондратьевич, угощайтесь с нами.

ВЯЗЕМСКИЙ. С превеликой радостью. *(Садится. Кикин наливает ему водки, незаметно добавляя в стакан пенника. Все выпивают)*. О чем честна беседа? Не причинил ли тесноты собой.

ГЛЕБОВ. Нимало. О денежных тягостях беседовали. Немец да француз на русской службе получают триста-четыреста рублей, русский же за ту же должность — шестьдесят, если полковник, а я, к примеру, майор, — сорок рублей месячного жалованья. Жена моя, Татьяна Васильевна, болеет, дети мои, Андрей да Марья, уж велики, а что им в приданое дать могу? Имею три двора в Петербурге в Шлевенской слободе на Адмиралтейской стороне, да дом в Москве за Пречистинскими во-

ротами, в коем сам проживаю. И выходит, что я, майор русской армии, трижды раненый в болотах у плотин Швабстеда, да отличившийся у Фридрихштадта, я бедней лакеев твоих, Алексей Петрович.

КИКИН. Каждый свою нужду имеет.

ГЛЕБОВ. Нет, Кикин, вам, гвардейским, деревни даром дают, а нам, армейским, их на собственные алтыны покупать надобно. Как же без деревень с тремя дворами дочку замуж отдам? У тебя, Кикин, только каменных в Петербурге пять штук. Да жены твоей, Феклы, приданое.

ВЯЗЕМСКИЙ. Крепка водка... Чую я, вы господа браги подмешали, али меда-вишняка... Мутит меня.

ГЛЕБОВ *(тоже захмелев)*. Лучше не бывает, ежели астраханский медовый квас на дрожжевой опаре. Только пить его надо умеючи, да ко времени.

ВЯЗЕМСКИЙ. Тягости тягостями, а перстенок у вас, майор, на руке золотой с чистым камнем. Да вижу, не сибирского золота, а золота китайского. *(Хихикает)*.

ГЛЕБОВ. Это гостинец.

ВЯЗЕМСКИЙ. Не суздальский ли? *(Хихикает)*.

АЛЕКСЕЙ *(хмельно и сердито)*. Никишка, не в свое не встречай... *(К Глебову)*. Кикин верно сказал, каждый свою нужду имеет... Я, наследник престола, имею вдоволь деревень, да батюшкин фискал смотрит, куда деньги трачу. Без фискала ни с деревень, ни с кирпичных заводов, ни с сеновых покосов на реке Мге, ни с порубки дров тратить ничего не могу. Матери своей в Суздаль еле собираю изредка рублей пятьсот в затычке послать. Когда женился на Шарлотте, герцог Гольштинский обещал снабдить принцессу таким же приданым, что и старшую внучку свою, королевы Гишпани. Да все на своем коште жили, а порций и раций определено не было. На лошадей и экипаж денег не имели, прислуге не могли платить. Шарлотта едва не со слезами просила Меньшикова о помощи, и тот дал нам в заем пять тысяч рублей из мундирных денег ингерманландского полку.

ВЯЗЕМСКИЙ. Государь-батюшка и сам в экономии живет, поскольку нужда отечества да прибыль населения. Однако же

трудится, аки мастеровой, чего и вам желает. Потому изволит писать, что имеет на меня гнев, понеже вы, государич, оставя дело, ходите за бездельем, отчего я, государич, в великом сомнении и печали.

АЛЕКСЕЙ. Это фискальство от тебя идет, Вяземский, да мадам подсказывает.

ВЯЗЕМСКИЙ. Не гоже, государич, государыню мадам прозывать... Аще батюшка изволит писать, что желает видеть вашего собственного труда чертежи по военной архитектуре.

АЛЕКСЕЙ. У тебя, Вяземский, одна арифметика в голове.

ВЯЗЕМСКИЙ. Таковое приятней, чем одно в голове танцевание. Арифметика же или числительница что есть? Художественно честное, независимое и всем удобное понятие, многополезнейшее и многопохвальнейшее от древнейших же и новейших в разное время явившихся изряднейших арифметиков изобретенное и изложенное...

Алексей затыкает Вяземскому рот куском хлеба. Все смеются.

АЛЕКСЕЙ. Снится мне чуть ли не еженощно, что я церкви строю.

КИКИН. Сие к дороге, царевич.

ВЯЗЕМСКИЙ *(прожевав калач)*. Я уверен, для Бога нет ничего невозможного, но чудеса-события веков прошедших, а не нынешних. Люди так умны. Их можно обращать к Богу рассудком, не действуя на воображение и не поражая чувств их чудесами.

Иван Большой вносит блюдо с жареными курами.

ГЛЕБОВ. Жаркие куры ко времени поспели.

ВЯЗЕМСКИЙ. Под сие подчевание тост имею произнести... Понеже истинный страх Божий есть вся премудрость государичей и пребудущих правителей с самой их юности, ревность о справедливости, легкосердии, великодушии... *(Алексей, взяв с блюда кусок, начинает есть. Кладет надкусив несколько раз обратно на блюдо, берет другой кусок)*. Ради чего, государич,

вы изволили взять от сей яствы курячу ножку и, покушав несколько, положили обратно на блюдо. Да еще иную часть взять изволили? Господа, я приставлен к государичу государем, который объявил мне уважение, вручив наследника как залог будущего благоденствия народа нашего. Сам я, молвил государь, наблюдать за ним не могу, вручаю его вам, зная, что не столько книги, сколько пример будет служить ему руководством... *(Алексей наклоняется к Кикину и что-то шепчет на ухо. Кикин наклоняется и что-то шепчет на ухо Глебову).* Вы, государич, изволили нечто тайное молвить на ухо Кикину, а тот, измешкав немного тоже, тайно молвил на ухо майору... Я приставлен наблюдать государем... Все замечаю...

АЛЕКСЕЙ. Бог любит праведника, а царь любит ябедника.

ВЯЗЕМСКИЙ. Дурно и непристойно за столом друг другу на ухо говорить при иных людях... Дурно тако же, как государич сделали... Части курячие, которые государич кушал, он положил на то же блюдо... Государич лучше, нежели я, знает, что для очистки тарелки поступить надобно иначе. Понеже необыкновенно обьеденные кости на блюдо класть, а обыкновенно мечут их собакам. *(Алексей крепко берет ладонями голову Вяземского, с силой наклоняет ее, прижимает к себе и что-то долго шепчет на ухо. Вяземский пытается отстраниться, но Алексей не пускает. Наконец, видно сказав все, отталкивает).* Скверными лаями лаял. Выбрал меня и жену мою, и дочь такую пакостною бранью, что терпеть нельзя.

АЛЕКСЕЙ *(кричит)*. Терпеть нельзя! Терпеть нельзя! *(Вскакивает, срывает с Вяземского парик, вцепляется в волосы, вытаскивает из-за стола и начинает бить остервенело ногами).*

ВЯЗЕМСКИЙ. Убивают! Убивают!

АЛЕКСЕЙ *(задыхаясь от гнева)*. Иуда! Я тебя под тетинном хотел убить до смерти... Жаль не заколол... Я тебя со двора собью... В дверь выбью. *(Глебов и Кикин пытаются унять царевича).* Погодите, я его в дверь выбью. *(Тащит Вяземского за волосы к двери и ногой в зад выбрасывает вон. Затем пошатываясь возвращается к столу, садится, роняет голову на стол, сшибая при том тарелки и стаканы).*

КИКИН. Кваску испей, Алеша, охладись.

АЛЕКСЕЙ *(громко, истерично плача)*. Иуда! Батюшка мой, да Толстой сего Иуду поставили за мной смотреть... Шага не дает свободного, вздоха свободного.

КИКИН. А чего и ты малого какого не держишь при дворе отца? Знал бы, что говорят.

АЛЕКСЕЙ *(говорит с плачем)*. Девяти лет разлучили меня с матерью моей и глядят, чтоб не виделся. Прошлый год на святой неделе ездил тайно в Суздаль, так дознались. С малолетства отдали меня под опеку Меньшикова. Иноземцы говорили: принца берегут, как девочку. А Меньшиков с малолетства меня пить приучил и еще мальцом возил к Жаксону наблюдать как случают жеребцов. *(Плачет)*. Не знаю, нищим сделаться да с нищими скрыться на время? Или отъехать в какое царство, где приходящих приемлют и никому не выдают.

КИКИН. Я тебе говаривал, как вместе мы были в Карлсбаде, не ездил назад. Говаривал тебе, когда-де вылечишься, напиши отцу, что еще на весну надобно лечиться, а меж того отъехал бы в Голландию, а потом, после вешнего кура, мог бы в Италии побывать и там отлучение свое года на два или три продолжить.

АЛЕКСЕЙ *(утирая слезы)*. И там за мной смотрели, гнев отцов и туда достает.

КИКИН. А был ли кто у тебя от французского двора?

АЛЕКСЕЙ. Нет, от французского не были.

КИКИН. Напрасно ты ни с кем не виделся от французского двора и туды не уехал. Король человек великодушный. Он и королей под своею протекциею держит. А тебя ему невелико дело продержать.

АЛЕКСЕЙ. Теперь уж что говорить. Был в Карлсбаде, лечился от простудной чахотки, а оную нажил при корабельных спусках. При слабом здоровье меня часами на морозе стоять заставляли и поили смертно.

КИКИН. Отец тебя уморить хочет, пока сам не умер. Так советники подсказали. Боятся, что после отца ты все по иному повернешь.

АЛЕКСЕЙ. Да, по иному поверну. Я старых всех переведу, а изберу себе новых по своей воле.

ГЛЕБОВ. Отец еще не стар, но сильно и часто припадает, долго не удержится, не проживет, а с ним исчезнут и дела его.

АЛЕКСЕЙ *(с горечью и злобой)*. Не только дела его омерзели, но и сама особа его мне омерзела. Лучше б я на каторге был или в лихорадке лежал, чем там у него был. Я всегда, как на плахе. В Карлсбаде когда лечился, книги читал Бирониуша, кесаря римского. Сказано там: не кесарьское дело вольный язык унимать, да не кесарьское дело в великий пост казнить. Да воинам чтоб народ не притеснять, чтоб не брать дров и постели у хозяев на квартирах.

КИКИН. Ты, Алеша, умнее отца. Отец твой, хоть и умен, но людей не знает. А ты умных людей знать будешь лучше.

АЛЕКСЕЙ *(повеселев)*. И то правда. Эх, други, быстрее бы время пришло без батюшки. Жить будем весело, свободно, по-русски. *(Кричит)*. Иван!

Входит Яков Носов.

ЯКОВ НОСОВ. Иван Большой отлучился по нужде, а Иван Малый Никифора Кондратьевича пользуется, понеже тот с лестницы пьяный упал и руку свихнул.

АЛЕКСЕЙ *(смеется)*. Яков, сбегай-ка в трактир и приведи певаков. Да с гусями и скрипичей.

ЯКОВ НОСОВ. Слушаюсь. Внизу человек дожидается. Просил к вам, да я его не пропустил.

АЛЕКСЕЙ. Кто таков?

ЯКОВ НОСОВ. Босой.

АЛЕКСЕЙ. Это как — босой?

ЯКОВ НОСОВ. Кличут Босой и натурально сам босой. А на съестном рынке я указ читал к столбу прибитый: беснующихся, в колтунах, босых и в рубашках ходящих, не допускать и наказывать.

ГЛЕБОВ. То видать Михайло Босый из Суздаля пришел. *(К Якову Носову)*. Веди его сюда.

АЛЕКСЕЙ. Пропусти сюда.

Наливают водки, чокаются, выпивают. Входит Босый, в старой монашеской рясе, перевязанной веревкой, с плетеным из лыка кузовом за плечами, босой.

БОСЫЙ. Мир вам, царевич-батюшка. *(Крестится на иконы, затем к Глебову сердито)*. И ты здесь, майор? В ворота к тебе стучал, да солдаты со двора согнали и женка твоя також.

ГЛЕБОВ. Ну не признали, Михайло. Ты не сердчай. Это Михайло Босый, богомол из Суздаля. Здесь, Михайло, все свои.

БОСЫЙ. Ежели так, мочно... *(Вынимает из плетеного кузова хлеб, разламывает его пополам и достает оттуда записку и кольцо)*. Вам, государь-царевич, от матушки вашей царицы Евдокии из Суздаля. Кольцо и память. *(Протягивает записку)*.

АЛЕКСЕЙ *(торопливо хватает)*. Матушка моя родная! *(Читает про себя, затем вслух)*. "Олешенька! Когда Бог сочтет вас, вот мое обручальное кольцо на счастье. Простите. Бог с вами. Твоя мать Евдокия". *(Плачет)*. Матушка моя родная, любимая моя матушка. Уж сколько годов мы разлучены с тобой.

БОСЫЙ. Посылает Вам, царевич-государь, царица-матушка ваша также образ маленький Богородицы да платок, да четки, да молитвенную книжку, да две чашки, чем водку пьют. А изустно передать просила: ежели в чужие края уедешь, хорошо то сделаешь.

КИКИН. Ей, недурна мать твоя, Алеша.

БОСЫЙ. Был я дорогою у Авраама Лопухина, брата вашей матушки, был в Ясной Поляне под Тулою, и передал он тебе бутылку домашней водки-рябиновки да письмецо маленькое при оной водке, однако письмецо, одумавшись, изодрал, а так велел передать, что Авраам-де гораздо печалится, что вы, царевич, к нему неласковы.

АЛЕКСЕЙ *(беря бутылку)*. Передай Аврааму, что я к нему доброжелательный. Чтоб он не сумневался. *(Наливает водку, пробует)*. А водка славная... Ну-ка тебе, Босый, чашку за радостную весть. *(Наливает. Босый крестится и выпивает)*. Калачом да курячей ножкой закуси. *(Дает недоеденную курячую ножку. Босый ест с аппетитом)*. Да сапоги ему! Ей, Яков! *(Входит Иван Большой)*. Иван, сапоги Босому. Пришел ты ко мне босый, а уйдешь в сапогах.

БОСЫЙ *(быстро охмелев, кричит)*. Любо! Любо! Батюшка ваш недолго проживет. Я его издаля видел. Выглядит он упалым и лицо пухлое.

Входят три музыканта с гуслими и скрипичей.

АЛЕКСЕЙ. Вот и весела вечерина. Спевачи, вы откуда?
МУЗЫКАНТ СО СКРИПИЦЕЙ. Мы бывшие императрицы-
ны певчие. А ноне не по душе новому регенту, так по кабакам.
АЛЕКСЕЙ. Ей, веселую! *(Музыканты играют, Алексей поет)*.

Ты, крапива, ты, крапива, блядь.
Вы крапивны семена.
Кунью мою шубоньку облила.
Меня курвой, блядью оплескивала.

БОСЫЙ *(приплясывая поет)*.

Ударил он девицу по щеке.
А пнул он девицу под гузно.
А баба задом пухла.
Тряси ее за пельки.
Пинай под гузно.

КИКИН. *(смеясь. Босому)*. Чего сапоги дареные не на-
тянешь? В сапогах плясать веселей.

БОСЫЙ. Болят у меня ноги. Есть на них раны. Я, как на
стужу ходил, обертывал ноги тряпочками.

АЛЕКСЕЙ. *(поет)*.

Взял бы ворону, — долгоносая.
Взял бы сороку, — щепетливая, блядь.

БОСЫЙ. Я множество по монастырям да по людным се-
лам ходил, в приходские церкви. Народ, вас, царевич, обожа-
ет и пьет за ваше здоровье в семейном кругу. Духовенство о
вашем здоравии молится Богу.

КИКИН. Был слух, что тебя, Алеша, в польские короли
хотели. И венгерцы корону предлагали, да царь Петр отказал,
не желая ссориться с Австрией.

АЛЕКСЕЙ. Уж от русских людей я никуда. Уж лучше ни-
щим в России, нежели королем в Венгрии. Уж лучше монахом.

КИКИН. Монахом можно, вить клобук не гвоздем к голо-
ве прибить. А ежели на плаху, то лучшие в чужие края.

АЛЕКСЕЙ *(музыкантам)*. Спевачи, что-либо заради души.

Музыканты играют и поют.

Ах, ты молодость, моя молодость. Ах, ты буйная, ты
разгульная.
Ты когда прошла-прокатилась. И пришла старость —
не спросилась.

Как женил меня родной батюшка,
говорила мне родна матушка.
Ты женись, женись, бесталаный сын. Ты женись, женись,
мое дитятко.

Как женился я, добрый молодец.
Молода жена не в любовь пришлась.
На руке лежит, что колодонька. Во глаза глядит,
что змея шипит.

А как душечка, красна девица, моя сладкая полюбовница,
На руке лежит — легко перышко. Во глаза глядит —
красно солнышко.

АЛЕКСЕЙ *(утирая слезы)*. Когда буду государем, то
жить стану в Москве, а Петербург брошу. Так же и корабли
брошу и держать их не стану. А войско держать буду только
для обороны. Войны ни с кем иметь не хочу. Хочу довольст-
воваться старыми владениями. Зимой буду жить в Москве,
летом в Ярославле.

БОСЫЙ. Сказано, во имя Симона Петра имеет быть гор-
дый князь мира сего антихрист.

АЛЕКСЕЙ. Спевачи, вот вам пять рублей, пропойте стих,
что отец мой икон не почитает и есть враг креста Христова.

ПЕВЧИЙ С ГУСЛЯМИ. Такого, государь-царевич, мы сде-
лать не можем, ибо страх имеем.

АЛЕКСЕЙ. Это ныне батюшку боятся. А по смерти боять-
ся не станут. *(К музыкантам)*. Играйте, играйте, игрец по-
дарю.

Музыканты играют.

ИВАН БОЛЬШОЙ *(входит)*. Карета ее высочества царевны
Марии Алексеевны.

АЛЕКСЕЙ. Денег займы просить приехала.

Входит царица Мария Алексеевна в сопровождении седоусого слуги.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Здравствуй, Алеша, здравствуй, племянничек. *(Троекратно целуется с Алексеем. К Босому)*. Здравствуй, Михайло *(Босый кланяется)*. Здравствуй, Кикин! Мы с тобой с Карлсбаду не виделись. *(Смотрит на Глебова)*. Этого не припомню. Преображенец али семеновец? Я в военных мундирах не понимаю.

ГЛЕБОВ. Из гренадер я, ваше высочество. Майор Глебов. Гвардия — те в зеленом сукне да с красными каблуками. Щеголи. Я ж обыкновенный, армейский. Езжу по городам да деревням, рекрут набираю.

БОСЫЙ. В присусьи ставит рекрутов под мерку да лоб брет, вот и вся работа.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Ах, я тебя припомню. Это тебе царица Евдокия просила место Суздальского воеводы выхлопотать?

ГЛЕБОВ. Не знаю, чего она просила. Я не просил. У меня в Москве дом, жена, дети.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Видать, уж забыл ты, Глебов, Евдокию. И ты, Алеша, мать забыл. Не пишешь и не посылаешь ей ничего. Посылал ли ты после того, как через меня была посылка?

АЛЕКСЕЙ. Вот с Михайлой Босым пошлю деньги. А писать опасаюсь.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. А что, хотя бы тебе и пострадать. Так ничего, ведь за мать, не за кого иного.

АЛЕКСЕЙ. Что в том прибыли, что мне беда будет, а ей пользы никакой.

КИКИН. Марья Алексеевна, садитесь, винца испейте али меду. Да закусите.

Мария Алексеевна садится к столу, Кикин разливает всем в стаканы. Выпивают.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА *(закусывая)*. Ноне нельзя жить, как жилось. Содержание малое стало. Вот повар мой Чуркин

знает. Он еще при царевне Татьяне Михайловне дворцовым поваром был. Скажи, Чуркин, хорошо ранее жилось?

ЧУРКИН. У царевны Татьяны Михайловны стряпал, у царевны Софьи Алексеевны стряпал. А ноне стряпаю вверху, живу неделю и добычи ни на копейку. Прежде сего все было полно, а ноне с дворца вывезли все. Кравчий ей, государыне, ставит продукт гнилой и кормит ее с кровью. Прежде всего по погребам было много рыбы, много и масла. Дворца приезжие говорили, что воняет. А ноне вот не воняет, ничего нет.

ГЛЕБОВ *(захмелев)*. Немецкий прусак все пожрал. Да и породу русскую пожирает. Русский барин, под стать мужику, не знал простуды и неварения, по субботам хаживал в гиену, спал ровно на сквозном ветре и на лежанке, в горнице сиживал в тулупе, на двор в мороз бегивал в халате, квас пил на молоко, чай на репу. Вот я у отца своего с трех лет познакомился с ленивыми щами с ботвиньей, с рубцами, с киселями, с кашами, с "няней". Знаешь, как "няню" приготовить, Чуркин?

ЧУРКИН. Как не знать, господин майор. "Няня" составляется из телячей головы, из гречневых круп, из свежего коровьего масла. Все кладется в горшок, замазывается тестом и ставится на сутки в печь. Потом из горшка выходит кушанье, в коем мудрено решить, что вкусней — каша или мясо.

ГЛЕБОВ *(хмельно)*. Правда, Чуркин. А почему же оно смешней котлетов с жабами? Спросить бы сие у наших англоманов да немцманов. Алексей Нарышкин, острослов, хорошо на них придумал: англоман — клерк, французман — стригун, немцман — моренкопф. *(Смеется)*. И на баб придумывает: красавица — жемчужина, дурная лицом — держи вправо, распутная — лоханка. *(Смеется)*.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Ты уж, Глебов, перепил с лихвой.

ГЛЕБОВ *(сердито и пьяно)*. Может быть, я напрасно излагаю, но хотел бы предостеречь тех, кои, плохо зная русское, могут подумать, что дитя был людоед и кушал нянюшку. Следовательно, это просто объяснение в непросвящении, да и куда мне учить ученых. Я не философ, а русский, и если б не родился русским, то сокрушался бы, что нерусский.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Кого ты, Глебов, упрекаешь? Здесь все русские.

ГЛЕБОВ (*кричит*). Моренкопф! Ненавижу!

АЛЕКСЕЙ. Иван, отведи майора в диванную, сними с него мундир да стащи башмаки. Пусть проспится. (*Глебова уводит*). Играйте, музыканты, играйте. Игрец получите. (*Музыканты играют*).

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА (*Алексею*). Как у тебя с батюшкой?

АЛЕКСЕЙ. Я уж не знаю. Я уж себя чуть знаю от горести. Я бы рад куды скрыться.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Куды тебе от отца уйти? Везде тебя найдут.

АЛЕКСЕЙ. Отец мой, не знаю за что, меня не любит и хочет наследником учинить брата моего, а он еще младенец. И надеется отец мой, что жена его, а моя мачеха, умна. И когда учиня сие умрет, то будет бабье царство. И добра не будет, а будет смятение. Иные станут за брата, а иные за меня.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Кто за тебя станет?

АЛЕКСЕЙ. Что тебе, Марья, сказывать. Ты их не знаешь.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Какого они чину?

АЛЕКСЕЙ. Что тебе, Марья, сказывать, когда ты никого не знаешь.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Почему ж никого? Многих знаю. Да и меня можешь считать. Множество людей разного звания можешь считать.

АЛЕКСЕЙ (*обрадованно*). Хотя батюшка и делает, что хочет, только еще как сенат похочет. Чаю, сенаторы и не сделают, что хочет батюшка. И надежду имею на сенаторов, а на кого именно, ноне не скажу. И архиереи во множестве мои. И в гвардии да армии людей имею. И черный народ меня любит.

КИКИН (*с беспокойством*). Лишнее молвишь, Алеша.

АЛЕКСЕЙ. Кто понесет? Я запрюсь, а его распытают. Батюшка уж не слушает, столько на меня правды и неправды плетут.

ЧУРКИН. Слыхивал я, на двести двадцатой версте от Москвы, во дворе у мужика, в хлеву, под гнилыми досками стоит котел денег.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Какого мужика?

ЧУРКИН. Это мне не известно.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Эх ты, чучело чухонское. Ты б лучше разузнал про иноземку Марью Велимову, фрейлину царицы Екатерины Алексеевны. Та, говорят, деньги в рост дает.

ЧУРКИН. Так ведь без закладу не даст.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Лихо, что закладу нету. Ты б так выпросил.

ЧУРКИН. За так не даст. Вон сахарница, у которой вы изволили выбирать сахару и конфекту на девять рублей, без денег не отдала. Мне сахару для сбитня надобно, а вы изволили запечатать сахар и после не изволили брать.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА (*сердито*). Что ты плетешь на людях вне ума? Вот сгоню тебя со двора. Поди сядь туда подальше.

АЛЕКСЕЙ (*смеется*). Он у тебя, Марья, на уме. Иван, подлей-ка Чуркину водки.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Ты мне его упоишь, в карету не вопрется.

АЛЕКСЕЙ (*смеется*). Ничего, доведем.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Было мне, Алеша, откровение, что брат мой, а отец твой возьмет мать твою к себе, и дети будут таким образом. Отец твой будет болен и произойдет некоторое смятение. Он придет в Троицкий монастырь на Сергиеву память. Мать твоя будет тут же. Он исцелее от болезни и возьмет ее к себе. И смятение утешится. А Питербурх не устоит за нами. Быть ему пусто. Многие говорят о том.

ЧУРКИН (*сидя с Босым в стороне, хмельно*). В немецкую слободу изволила поехать царевна Марья Алексеевна с царицей Прасковьей Федоровной смотреть двор, а на том дворе хозяйка пьяна была, у нее родины были. И государыня-царица Прасковья Федоровна изволили напрашаться кушать, и ее унимала царевна Марья Алексеевна, а она не изволила послушаться. Ездила во все те места, где изволила напрашаться на обед.

АЛЕКСЕЙ (*кричит*). Веселую, музыканты, веселую, спеваки!

Музыканты играют и поют.

Курочка бычка родила.
 Поросеночек яичко снес.
 На высокоу поличку вознес.
 Безрукий клеть обокрал.
 Глухому в окно подавал.
 Безносый табак нюхал. Безгубый да трубку курил.

АЛЕКСЕЙ. Давай, Марья, плясать. *(Алексей и Марья Алексеевна пляшут. Марья Алексеевна поет).*

У Спаса на Чегасах за Язую
 Живут мужики богатые.
 Гребут золото лопатами.
 Чисто серебро лукошками.
 Ну а кашу едят ложками.

АЛЕКСЕЙ.

А тпру — тпру — тпру.
 А тпр — тпр — тпру.
 Не вари кашу круту.
 Вари кашу жиденькую, вари мягонькую
 да молошненькую.

ЯКОВ НОСОВ *(входя).* Камер-курьер его императорского величества господин Сафонов.

Музыка и пение обрываются. В тягостной тишине военным шагом входит курьер в мундире офицера-преображенца. Подает Алексею письмо и бумагу для росписи. Алексей расписывается. Курьер по-военному поворачивается и уходит.

АЛЕКСЕЙ *(вскрывает письмо и читает).* Батюшка-государь в Москву едет.

КИКИН *(после паузы).* Ложись, Алеша, в постель, скажись притворнобольным.

АЛЕКСЕЙ *(подходит к столу, опускает голову на руки).* Что я здесь такого наговорил? Как же я теперь отцу в глаза посмотрю?

Сцена 2

Та же столовая комната в тюремных покоях кремлевского дворца. Утро. За столом, укрытым малиновой бархатной скатертью с золотыми кистями, сидит государь Петр Алексеевич в старом зеленом кафтане с небольшими красными отворотами. Поверх кафтана кожаная португя. Но на ногах зеленые чулки и изношенные башмаки. Рядом на стуле лежит его старая шляпа. Перед Петром, опустив голову, стоит Алексей в черном сюртуке, в черных шелковых чулках, при шпаге.

ПЕТР *(с горечью).* Зон, уразумел ли в конец, про што я ныне с тобой уж более часа беседую? Уж сколько лет не доволен я тобою таковым. Какого же злого нрава и упрямства ты исполнен. Сколь много за сие тебя бранивал и не только бранил, но и бивал и к тому ж столько лет почитай не говорю с тобой, но ничего сие успело, ничего не пользуется, но все даром, все на сторону, ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться.

АЛЕКСЕЙ *(не поднимая головы).* Я не виноват, государь-батюшка, что таковым родился. Природным умом не дурак, но труда понести не могу из-за болезней моих, а сие в руках Божьих.

ПЕТР. Не трудов требую, но охоты желая, которую никакая болезнь не отлучит. Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил. К тому ж немало есть людей несравненно болезненней тебя. Брат мой Иван болезненней был. Ты же, хоть не весьма крепкой породы, но и не весьма слабой. Я с горечью размышляю и заключаю, что не в болезни телесной суть. Не болезнь виной, что ничем не могу тебя склонить к добру. Большие бороды тебя принуждают. Большие бороды, которые ради тунеядства своего ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен, али в Москве, али в Суздале, али в ином месте.

АЛЕКСЕЙ. С Суздалем делов не имею, в том поклясться могу.

ПЕТР. Что приносишь клятву, тому верить невозможно. К тому ж, по Давидову слову — всяк человек — ложь. Сын мой, чем воздаешь рождение отцу твоему? Помогаешь ли ты в та-

ких моих несносных печалях и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей, николи! *(Зовет)*. Орлов! *(Входит денщик Петра Иван Михайлович Орлов, рослый, плечистый, в мундире преображенца)*. Орлов, покличь сюда учителя царевича, Вяземского.

ОРЛОВ. Слушаюсь, государь. *(Выходит)*.

ПЕТР. Истинно святой Павел пишет: "Безумный радуется своей бедою, не ведая, что может от того следовать. *(Входит Вяземский с перевязанной рукой, кланяется Петру и целует у него руку)*. Расскажи, Никифор Кондратьевич, как царевич время свое проводит в обыкновенном своем неплотии.

ВЯЗЕМСКИЙ. Пресветлейший государь! Стремился чувствами в сердце его высочества государича насаждать, дабы внушить ему отвращение к мерзостям, и почитал, что надлежит особливо его высочество от злого товарищества остерегати, учиняющие дела злодетельные и злой приклад подавать могущие. Его высочество, однако ж, к таковым людям соблазны имеет, ко всякой противости и жестокосердии.

ПЕТР. Приятно ли мне сие слышать, сын мой? Обозрюсь на линию наследства, горесть меня снедает, видя в тебе наследника весьма на правления дел непотребного, понеже я смертный человек и не сегодня-завтра могу умереть. Я каждодневно встаю в пять утра и тружусь. Ты же никакого труда не терпишь, ни мирного, ни военного, ищешь же легкие забавы, которые только веселят человека. Гляди, в сией одежде, в которой я перед тобой, разгромил я Карла XII на полях Полтавы. Сия шляпа пулей шведской пробита, от головы на сантиметр прошедшей. Погибнуть, разумеется, можно всяко. Можно подавиться и свиным ухом. Я не советую лезть в опасности, но получать деньги и не служить — стыдно. *(К Вяземскому)*. Ты, Никифор Кондратьевич, можешь удалиться. *(Вяземский вновь целует Петру руку и выходит)*. Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законных причин, но любить воинский труд надобно.

АЛЕКСЕЙ. Отец, война тягости на русский народ кладет. Народ русский по миру скорбит.

ПЕТР. Не от сих ли мыслей и греки древние пропали, что

оружие оставили и единым миролюбием побеждены. Всем известно, что перед начинанием сией войны наш народ был утеснен от шведов, которые перед нами занавес задернули и со всем светом коммуникации пресекли. И того сподобилось видеть, что оный неприятель, от которого трепетали, от нас ныне трепещет. Я, коли на трон сел, гораздо моложе годов твоих, о реформах не задумывался. Меня к реформам сам швед подвинул. С крымским татаринцом на юге стрелец воевать мог, а со шведом на севере не стрелец, солдат нужен. Нужно войско не русского строя, а строя иноземного. Для того и послал я тебя, наследника, в Германию, ты же мало привез немецкого чувства и права.

АЛЕКСЕЙ. Куда уж больше немецкого. В нашей армии из тридцати одного генерала четырнадцать — иноземцы. Я, отец, тоже любитель реформ, однако той реформы, которую хотел вести и царь Алексей Михайлович, и царь Федор. Реформы, которые не одно лишь хозяйственное и военное подразумева-ли, но и помнили о нравах национальных, о душе народной.

ПЕТР. Понимаю, понимаю, узнаю слова твои. Видно, что большую часть времени своего проводишь ты с московскими попами и дурными людьми. Сверх того, предан пьянству.

АЛЕКСЕЙ. Не во всяком несогласии попы да пьянство. Мы — славянский народ и жить должны в мире славянском. Для нас, русских, не Германия да Голландия — запад, а Польша, и науки да философию европейскую нам через Польшу брать надобно, чтоб нешляхетские науки: артиллерия, лоция, фортификация смягчались науками греческого и латинского языка, риторикой и священной философией. Нравственности нашей национальной потребно греко-латино-польское просвещение, а не ремесло немца и голландца.

ПЕТР. Вот чему тебя твои ученые киевские старцы научили, вот кому ты в рот смотришь, как молодая птица. Без немецкого и голландского ремесла нам шведа не одолеть, нам Европы не одолеть. И разве не учились в древности у чужеземцев, разве не звали норманов на Русь? Твои киевские старцы да прочие подобные русскому народу "аллилуйя" все поют. Для чего? Для него ли, для своей ли пользы? Нет, не то дол-

жен понимать честный правитель. Приходится насаждать в нашем русском грубом, праздном народе науки, чувства храбрости, верности, чести. Надо много трудиться, чтоб хорошо узнать народ, которым управляешь.

АЛЕКСЕЙ. Я к такому труду и такому правлению не годен.

ПЕТР *(сердясь)*. Того ради так остается, что желаешь быть ни рыба, ни мясо. Или отмени свой нрав и неллицемерно удостой себя наследником или будь монах. Ибо без сего дух мой спокойным быть не может, а особливо, что ныне мало стал здоров.

АЛЕКСЕЙ. Желая монашеского чина, и прошу о сем милостивого позволения.

ПЕТР *(смотрит на сына)*. Алексей, одумайся, не спеши. Восемнадцать лет служу я сему государству и никогда не просил, чтоб дома оставаться, яко дитя. Ты ж просишь. Монастырь — это молодому человеку нелегко. Вот скоро в Амстердам еду, пиши ко мне и приезжай. Пиши, что хочешь делать. Лучше бы взялся за прямую дорогу, нежели в чернецы. Подожду еще.

АЛЕКСЕЙ. Ничто иное донести не имею. К тому правлению, которое вам видится, не потребен, сие снова вычел ныне из разговора. Потому, если изволите, лишите меня короны российской.

ПЕТР *(все более становясь гневлив)*. Снова лицемеришь, снова слова мои разнес ветер. Не ныне ты сие решил, а ранее с товариществом своим московским да суздальским. Уподобляешься рабу евангельскому, вкопавшему свой талант в землю, сереч все, что Бог дал — бросил. Или того хуже, ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю. Да, ненавидишь и, конечно, разорителем оных будешь. *(Лицо Петра искажается судорогой)*. Если так, я с тобой, как со злодеем поступлю! И не мни себе, что один ты у меня сын. Воистинно исполню, ибо за мое отечество и людей живота своего не жалел и не жалею, как же могу тебя непотребного пожалеть. Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный. *(Петр идет к дверям быстрым нервным шагом,*

волоча за собой левую ногу, припадая. В дверях появляется денщик Иван Орлов. Петр опирается на его плечо, оборачивается к Алексею). Отсеку, яко уд гангренный!

Петр уходит. Алексей тяжело валится в кресло, сидит неподвижно, бледный, изможденный.

АЛЕКСЕЙ *(после паузы, сам к себе)*. Отношение меж мной и отцом — меж жертвой и мучителем. Это нет большего мучительства, чем требовать изменить природу. Надо бежать. Бежать из России за границу, чтоб не выбирать между монастырем и пленником при отце. *(Встает, ходит по комнате)*. Но бежать, разве легкое дело? Как бежать, куда? А ежели узнают и поймают? А не поймают, то как примут на чужой стороне чужие люди? Как жить? Всем тяжело, а мне тяжелее всех. Повиноваться отцу надо, когда отец требует хорошего, а в дурном, как повиноваться? Где сему конец? Что из этого всего будет? Сказывают, у отца эпилепсия, а такие люди недолго живут. Говорят, лет пять, больше не жить. Одначе и я летами немолод. Жил бы и пошел в монастырь, а может быть, чтоб до того и умер. *(Останавливается у стены, где на персидском ковре развешано оружие)*. На что ж такие длительные мучения? Взять пистоль, вложить пульку. Кикин говорит, отцова болезнь — более притвора. Это означает долгие годы мучений. *(Приставляет пистолет к виску)*. Нет, страшно. Похоронят где-либо на церковной погосте, за оградой. *(Отнимает пистолет от виска, приставляет к ладони. Затем берет пистолет в левую руку)*. Сие верно умыслил. Испорчу себе правую руку, чтоб невозможно было оною ничего делать. С калеки иной спрос. Все одно страшно себя калечить, больно телесам причинить. Одначе молитвою к святому Алексею боль облегчу, *(Шепчет)*. О, угодниче Божий! Не забуди и тезоименника твоего. Ты оставил еси дом твой. Он так же по чужим домам скитается. Ты удалился еси родителей. Он такоже. Молю убо, святыне Божий! Покрой своего тезоименника, покрой его в крове крыл твоих, яко любимого птенца, яко зеницу от всякого зла соблюди невредимого. *(Нажимает курок. Выстрел. Алексей падает, роняя пистолет. Вбегает Иван Большой)*.

ИВАН БОЛЬШОЙ *(испуганно)*. Царевич-батюшка убили себя.

АЛЕКСЕЙ *(открывая глаза)*. Святой Алексей спас меня.

ИВАН БОЛЬШОЙ *(крестится)*. Тешимся и возрадуемся счастливому спасению.

АЛЕКСЕЙ. Плыл я волнами печалей, надеясь получить радостную тишину за гробом, иначе святой Алексей иное рассудил. *(Смотрит на руку свою)*. Пулька руку миновала, иначе ж порохом больно опалила. *(Морщится)*. Пошли за Кикиным и отцом Яковом.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Кикин внизу в кремлевском огороде дожидается. Пока вы с батюшкой беседовали, он там все время дождался подалее, в кустарнике. *(Помогает Алексею подняться)*.

АЛЕКСЕЙ. Пусть ко мне идет. Духовник мой Яков Игнатьев в Белом городе живет на Никитской. За ним карету пошли.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Слушаюсь. *(Идет к дверям)*.

АЛЕКСЕЙ. Погоди, Иван. Не скажешь ли кому, что буду говорить?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Не скажу, государь-царевич.

АЛЕКСЕЙ. Я не к батюшке в Амстердам поеду. Поеду к цесарю в Вену али в Рим.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Воля ваша, государь, только я вам не советник.

АЛЕКСЕЙ. Для чего?

ИВАН БОЛЬШОЙ. Того ради, когда вам удастся, то хорошо, а не удастся — вы же на меня будете гневаться.

АЛЕКСЕЙ. Однако ж ты молчи и про сие никому не сказывай. Только у меня про это ты знаешь да Кикин. Для меня он в Вену проведывать поехал. Ты ж сундуки укладывай. Шубы не забудь покласть да алмазы.

ИВАН БОЛЬШОЙ. Ежели дознаются, ведь распытают здесь нас. *(Вздыхает)* Вы мне, царевич, аттестат подпишите о поведении. У меня намерения уехать нет. Жаль мне оставить жену, также отца, мать и брата. Яков Носов один пусть едет, я ему денег ссужу, если потребно.

АЛЕКСЕЙ. Иди, иди поскорей, зови Кикина да духовника.

(Иван Большой уходит. Алексей, морщась, трет опаленную ладонь, ходит вдоль стен, останавливается). Вон она, пулька. В стене застряла. *(Морщится)*. Однако порохом больно опалило.

Торопливо входит Кикин.

КИКИН. Чего ты учинил, Алеша?

АЛЕКСЕЙ. Уже позади. Учинил, понеже страх имею перед батюшкой, но не сыновский. Хотел себя убить, понеже смерти отца не дождусь.

КИКИН. Отец твой не болен тяжело. Он исповедуется и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все приговора. Что ж причащается, у него закон на свою статью.

АЛЕКСЕЙ. И я исповедаться хочу. Послал за отцом Яковом.

КИКИН. Хорошо. Отец Яков тебе дурное не посоветует.

АЛЕКСЕЙ. Может верно, испросить у отца до смерти себе пропитание. Я уж и монастырь присмотрел, тихий, в лесах, на берегу Волги. Желтиков-Тверской монастырь.

КИКИН. Как же Афросинья?

АЛЕКСЕЙ. Афросинья недалеко жить будет в деревне.

КИКИН. Отец тебя не пострижет, а будет при себе держать и возить, чтоб от волокиты умер. Тебе, кроме побега, спаситься ничем иным нельзя.

АЛЕКСЕЙ. Отец зовет ехать к нему за границу, как он поедет.

КИКИН. Что ж, сам отец отворил дорогу. Поезжай в Вену, к цесарю, там не выдадут. Спрашивал меня резидент наш Веселовский про тебя, я ему сказывал: сам знаешь, что его не любят. Иначе Веселовский, чую, в Россию вертаться не хочет, потому тебя не покроет, чтоб Петра на себя не озлоблять излишне. Потому с секретарем вице-канцлера Шенборна говаривал, заплативши ему. По его докладу понял, что цесарь примет тебя, как сына. Вероятно, даст денег, тысячи по три на месяц гульденов.

АЛЕКСЕЙ. А до Вены-то как с челядью доберусь? Денщик

отца Орлов Иван Михайлович мне говаривал, что нас только до Данцинга выпишут и деньги також до Данцинга. За Данцингом он меня встретить должен.

КИКИН. У Меньшикова проси тысячу червонных. Он даст. Сенат две тысячи рублей выпишет. А пять тысяч червонных да две тысячи мелкими деньгами я уж занял под тебя в Риге у обер-комиссара Исаева.

АЛЕКСЕЙ. Выходит, с деньгами управимся. Но когда ко мне будут присланные во Гданьск или Королевец, что мне делать?

КИКИН. Уйди ночью один с Афросиньей и возьми одного детину верного. А багаж и людей брось. Отцу ни в чем не верь. Он тебя заманит и публично голову отсечет. Я к тебе более не прийду и ко мне ты более не езд. За мной смотрят другие, кто ко мне ездит. Я повсюду говорить буду, что ты на меня сердит. Мне в отчистку будет. В день Святого Петра в летнем огороде гулянье, многих повидаю. Ты мне в Петербург письмо напиши, что к батюшке в Амстердам едешь, а ежели на меня суснет будет, что о твоём побеге знал, то я объявлю письмо твое, что и меня ты обманул. Прочие письма пиши циферью, какую для тебя дьяк Воронов изготовит на медной пластине.

АЛЕКСЕЙ. От Гданьска безлюдно поеду. Как бы не убили дорогой.

КИКИН. Зря болтают. Там не только такой знатной персоне, но когда я ездил на почтах, страху не было. Не то, что у нас повсюду дурачества да разбои.

Входит Яков Игнатов. Алексей целует ему руку. Яков целует Алексея в лоб. Кивает Кикину, тот выходит.

ЯКОВ ИГНАТОВ. Кем ты меня считаешь?

АЛЕКСЕЙ (*опустившись на колени*). В сим житии иного такого друга не имею, подобно вашей святыне. В чем свидетель — Бог. Не имею во всем российском государстве такого друга в скорби и разлучении, кроме вас.

ЯКОВ. Ты забыл страх Божий и обещания перед Богом и перед святыми его ангелами и архиангелами, когда перед исповедью твоей я спросил тебя перед святым "Евангелием",

дешь ли заповеди Божии исполнять, предания апостольские и хранить меня, нет, не как друга твоего, пусть и наилучшего, а как отца твоего духовного. Я тебе отец, а не царь. Он телом, я духом тебя родил. Ты должен почитать меня за ангела Божия и апостола, иметь за судью дел твоих. Хочешь ли ты меня слушать во всем, веруешь ли, что я, хоть и грешен, но такую же имею власть священства от Бога мне, недостойному, дарованную и ею могу вязать и решать, и хочешь ли во всем повиноваться и покоряться? (*Протягивает "Евангелие"*).

АЛЕКСЕЙ (*на "Евангелии"*). Заповеди Божии, предания апостольские, все с радостью хочу творить и хранить, и тебя, отца моего духовного, буду почитать за ангела Божия, за апостола Христова и за судию дел своих иметь, священства твоего, власти слушать и покоряться во всем.

ЯКОВ (*делает Алексею знак встать с колен, берет его об руку*). Никаких сделок с царем Петром. Во всем личный произвол одного. Единственная возможность в исправлении зла — устранение этого человека. (*Говорит мягче*). Народ почитает его за антихриста. Одначе, оба мы с тобой, Алексей, образованные люди, понимаем, что царь Петр не антихрист. Простой человек и существование его должно прекратиться обыкновенным человеческим путем.

АЛЕКСЕЙ. Каюсь, я смерти отца желаю.

ЯКОВ. Бог тебя простит. Мы все желаем ему смерти, для того что в нашем народе тягости много. Про что отец тебя спрашивал? Про меня спрашивал?

АЛЕКСЕЙ. Нет, об этом не знает. Боится одного — связей моих с Суздалем.

ЯКОВ. Кикин сказывал, едешь ты.

АЛЕКСЕЙ. Еду. Страшно мне, отец. Но ведь и сын великого князя Дмитрия Донского в Литву сбежал. И все ж страшно. Если у цесаря случая не будет, то ехать придется к Папе Римскому.

ЯКОВ. Ты, Алексей, не бойся. Ты стоишь за общее дело. За тобой народ наш русский, угнетенный, у которого ныне одна надежда на отдых в будущем твоём царствовании. Поезжай с Богом. (*Крестит Алексея*).

Сцена 3

Суздаль. Покровский девичий монастырь. Келья бывшей царицы Евдокии Федоровны, ныне монахини Елены. В келье несколько сундуков для хранения одежды и прочая мирская мебель. Евдокия одета по-монашески, в телогрее и в повойнике. Молится перед двумя иконами.

ЕВДОКИЯ (*шепчет*). Батюшка, мой свет. Благодетель. Подай мне, батюшка, помощи. Только я на тебя надеюсь. Где твой разум, тут и мой; где твое слово, тут и моя голова, все всегда по воле твоей. Прошу слезно у тебя и молю неутешно. Ох, свет мой, ох, душа моя, ох, сердце мое надсело по тебе. Уж мое проклятое сердце да много наслышало. Нечто тошно, давно мне все плакало. (*Хватает себя пальцами за лицо*). Все плакало. (*Плачет*). Лучше бы у меня душа с телом разлучилась, нежели мне было с тобой разлучиться. Кто мя, бедную, обиде? Кто сокровище мое украде? Кто свет от очей отым? Кому ты меня покидаешь? Кому ты меня вручаешь? Не покинь же ты меня, ради Христа, ради Бога! Прости, прости, душа моя, прости, друг мой. Целую тебя во все члены твои.

Входит старица Каптелина.

КАПТЕЛИНА (*Кидается к Евдокии, лежащей ниц перед иконами*). Матушка! Пошто так плачете горько, неутешно. Матушка, царица Евдокия Федоровна. Бог поможет.

ЕВДОКИЯ. Ох, Каптелина, Каптелинушка. Рада была бы я смерти, да негде взять ее. Пожалуй, помолись, чтоб Бог мой век утратил. Что мне делать. Молюсь в купе Богу и святителю Николаю, да Бог, видать, мое лукавство знает, что думаю я о Степушке и ему молюсь. Помолись за меня, Каптелина, за грех мой.

КАПТЕЛИНА. Может, оттого Бог не слушает, что по пострижению здесь в Суздале, в Покровском монастыре в иноческом платье ходили вы, матушка, с полгода и, не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, живете, матушка, в монастыре, под видом иночества, мирянкою.

ЕВДОКИЯ. У тебя в келье, Каптелина, меня постригли, и знаешь же, что мяса я не ела — правильно исполняла монашество и не помнила себя царицей, а была старицей Еленюю. А как начал архимандрит Диосифей мне о гласах от икон говорить, что буду опять я царицею на Москве, так сняла чернечное и одела мирское. Две иконы Диосифей принес, велел перед ними класть по несколько сот поклонов. Чуть не задушилась, поклоны кладучи. А лучше монашкой быть мне, чем ныне от тучи погибать. Ох, свет мой любезный, лапушка моя, не дай мне с печали умереть. Пью ноне чашу горькую, не разбирая ни скоромных дней, ни среды, ни пятницы.

КАПТЕЛИНА. Заявится Стефан Богданов-Глебов.

ЕВДОКИЯ. Ты так о нем не моги. Он не любит, коли ты его Стефаном кличешь.

КАПТЕЛИНА. Глебов, видно, мечту имеет, при вас, матушка, сделаться новым Меньшиковым — князем, как вы воссядете в Москве.

ЕВДОКИЯ (*сердито*). Черт тебя спрашивает. Уж ты и за мной примечать стала. Я знаю, Степашенька — человек честный. Будет ли мне с его бесчестье? Пошли-ка лучше ты карлицу Агафью за архимандритом Диосифеем. Распытать его хочу, отчего уж год видения его не делаются, чтоб мне царицей в Москве быть.

КАПТЕЛИНА (*зовет*). Агафья! Агафья! Сызнова, видать, в монастырский пчельник пошла... Агафья! (*Входит карлица Агафья*). Ты чего пропадаешь?

АГАФЬЯ (*целует руку Евдокии*). Не слышала, читала мнени-читье.

КАПТЕЛИНА. Врешь, к новому службе, к солдату в пчельник бегаешь. Не клянись да не крестись, блудная.

АГАФЬЯ. Пошто мне креститься, у меня и молитва не идет. Недавно в гости поп заезжал из Царицына али из Карамышанки. Говаривал, что иегумен Спасского монастыря передал, прислан-де указ из синода, чтоб служить в православных церквах на ерусалимских опресноках. А мне и во сне виделось, будто ж пришел в церковь некакой господин, будто ж с ерусалимскими опресноками и молвил: "Сотворю волю цареву".

Потому читала это я в минее-читье житие Федора Студита, а там именно повествуется, как-де в бытность его Федорову, царь-от також-де, как ноне наш государь, постриг жену свою, а иную взял.

КАПТЕЛИНА *(глядя в окно)*. Ктой-то явился.

ЕВДОКИЯ *(радно)*. Степушка... Сбылось, сбылось. Степушка явился. *(К Агафье)*. Вот тебе гривна... Иди, иди в свою келью... Иди телогрей кроить. *(Агафья уходит)*.

КАПТЕЛИНА. Глебов на телеге не явится. Это мужики соль в поварню привезли. А гляди, не одни сами мужики, и Михайло с ними. Михайло Босый воротился из Москвы. Гляди, пошел босый, а вернулся в сапогах.

ЕВДОКИЯ. И то радость. Может, радость за радостью чередой пойдет. Где Агафья?

КАПТЕЛИНА. Вы ж ее, матушка, услали.

ЕВДОКИЯ. Пойди за ней. Пусть мне отца Диосифея пришлет. Али сама за ним сходи. *(Каптелина уходит. Евдокия ходит по келье)*. Ежели уж сам не явился, хоть бы что через Босого передал свое... Степушка, пришли мне свой камзол, кой ты любишь. Уж я-то его исцелую. Пришли мне свой кусочек, закуся. Уж я-то его обглодаю.

Входит Босый.

БОСЫЙ. Здорова была мне, матушка-царица. *(Кланяется)*

ЕВДОКИЯ *(торопливо)*. К Глебову ходил? К майору?

БОСЫЙ. Глебов ворота не отворил да на двор не пустил. Да солдат высрал меня бранить, да сердиту жену высрал бранить.

ЕВДОКИЯ. И не видывал майора? Я ж ему послала бахромы на камзол шесть аршин да два мыла, да сорочки с порты турецкой.

БОСЫЙ. Отдал все и видывал в доме у сына вашего его величества царевича. Царевич мне и сапоги подарил, и напоил-накормил.

ЕВДОКИЯ. Как Олешенька-то?

БОСЫЙ. Печален. Отец его постричь хочет, а оттого царевич уйти хочет.

ЕВДОКИЯ. Ежели уйдет, то хорошо. Там ему будет лучше, чем при отце.

БОСЫЙ. Не долго ходить будет. И вам, матушка, в монастыре не долго жить. Так весь народ мыслит и по церквам вас за здравие царицей поминают. Яко не подобает монаху царствовать, не подобает и ей, Катерине, на царствованьи быть. Ведь она не природная, не русская.

ЕВДОКИЯ. Ты, Босый, ежели хочешь, можешь снова в чулане жить при моей келийной церкви. А хошь, к брату моему иди, Аврааму Лопухину, в мещерские деревни его.

БОСЫЙ. Я у него в тульских деревнях бывал. В Ясную Поляну заходил. От него подарки вам — шапка круглая соболья да шапка польская соболья. Да пятьдесят рублей от царевны Марьи, а от сына вашего царевича двести рублей.

ЕВДОКИЯ *(радно принимая подарки и деньги)*. Все наше, государево. Государь Петр Алексеевич за мать свою воздал стрельцам, а и сын мой из пеленок вывалился, за мать свою воздаст.

БОСЫЙ. Дай Господи, после смерти государевой, царицей вам быти с сыном вместе. Когда царевич будет царствовать, нам буде добро. А нынешняя царица иноземческого поколения. В апокалипсисе сидит жена любодейца на седми холмах, в руке держи чашу пьяну крови святых. Это государыня Екатерина Алексеевна сидит на седми холмах, на седми смертных грехах.

Входит Диосифей.

ЕВДОКИЯ. Вот, архимандрит Диосифей, пророчествуешь мне царицею быть, а отчего не делается сие, не ведаю.

ДИОСИФЕЙ. Послышал я, царица-матушка, что в великую печаль тебя привел. *(Целует ей руку)*.

ЕВДОКИЯ. Звала распытать — отчего не сделалось. Я уж поклоны перед вашими иконами кладу по несколько сот в день. Чуть от поклонов не задушилась.

ДИОСИФЕЙ. Ей, не лгу. Бог слышит твои простертые молитвы и добрые намерения.

ЕВДОКИЯ. А почему ж не учинилось?

ДИОСИФЕЙ. За грехи отца твоего, Федора Лопухина. Отец твой в аду. Моими молитвами от огня освобожден, но черт держит его за ноги. Видел я из ада выпущенного до пояса, а нынешний год уж только он по колени в аде. Как выпустят его из ада — царь умрет.

АГАФЬЯ (*незаметно прокравшаяся*). А протопоп Симеон в Суздале говаривает, что царь царицу-матушку постриг за супротивное.

ЕВДОКИЯ. Для чего он, вор, такие слова говорит. Знает, ведь, что у меня сын жив и ему заплатит.

ДИОСИФЕЙ. Было мне, матушка, новое видение. Ездил я в Толгский монастырь, в Ярославль, а обратно ворочась, поехал было в село Опково лошадей покормить. А на полпути пристал Димитрий и возвратил. В те часы вместо нас разбойники иных побили и ограбили. А нас он, свет, охранил. Царевич Димитрий, который при Годунове в Угличе зарезан. Рек Димитрий, что скоро свершится. Уж долго не будет. Зело скорбит неутешно, что продолжается. Послан иным во охоронение народу русскому. Про тебя же, царица-матушка, рек. Аз да аз, да живет в кругу. Значит, рек, царица Авдотья жива. И будет известие про пустынников. Тебя же, матушка-царица, пустынницею назвал.

ЕВДОКИЯ. Как же мне угличского царевича молить?

ДИОСИФЕЙ. Ты не его моли. Ты нищим да убогим поболее давай, так ему будет угодно. Я нищих и убогих привел, внизу ждут.

ЕВДОКИЯ. Хоть пять мешков денег раздам, лишь бы сделалось.

БОСЫЙ. В старопечатной книге кирилловой сказано: антихрист ложно Христом призовется. И так сбылось уж. Антихрист, воссевший на царский престол, стал именоваться Христом.

ДИОСИФЕЙ. Бывало, молят за царя Петра Алексеевича, а ныне стали молить за императора Петра Великого. Отечество уже не поминается. А в архиереи вместо русских иноземцев-малороссов всюду назначил, старопечатные же книги новопечатными заменил.

БОСЫЙ. Антихрист не может о старопечатных книгах слышать. Патриарх ему книгу показал, а антихрист на него палашом замахнулся, да сам упал. Поднял его Александр Меньшиков, а по поднятии молвил антихрист ко всем: "Не будет вам патриарха".

ДИОСИФЕЙ. Когда был патриарх на Вербной неделе, важили у них, патриархов, лошадей государи, и как здравствовал государь-царь Иоанн Алексеевич, в такое время приказывал брату своему Петру Алексеевичу: ступай-де со мной, веди у патриарха лошадь. И брат-то Петр не повел, а Иоанн Алексеевич и ударил его за то. Сие установили святые отцы, сказал старшой-то брат меньшому, а ты того не хочешь делать. Дай только мне сроку, отвечивал на то Петр, я это переведу. Да вот и точно, по-своему и перевел.

ЕВДОКИЯ. Где уж ему патриарха любить, ежели он жону свою законную не любил. С ранней молодости — бродяга. В дом свой не ходил, ночевал, где придется, то в полковом дворе, то в немецкой слободе. Немецкая слобода его и смутила. Девица Монсова, виноторговца. Помню, когда я Олешенькой разрешилась, то рад был и в сию честь фейерверк запалил. А уж через полтора года, когда Александром разрешилась, пожившим недолго, то уж не рад был.

АГАФЬЯ. Матушка-царица, нищих да убогих запускать в келью али назад на паперть отсылать?

ЕВДОКИЯ. Запускай, Агафьюшка.

Входят нищие и убогие, охая, кряхтя, осеняя себя судорожно крестным знаменем. Слышно: "Матушка наша... Царица-заступница". Слышен плач.

ЕВДОКИЯ (*раздавая деньги*). Что плачете-то?

СТАРУХА-НИЩАЯ. Матушка-заступница, то давали при погребениях душу отводить, ноне же воспрещено выть при погребениях и бедным воспрещено просить милостыню. Так хоть здесь от умиления поплачу.

НИЩИЙ. Матушка-царица, скажи-научи, можно ли ныне в церквю ходить?

ЕВДОКИЯ. А почему ж нет?

НИЩИЙ. Как же быть, ведь церкви Божий осквернены антихристовою скверною. Не могу молиться за антихриста, что ныне императором прозывается, и за слуг его.

ДИОСИФЕЙ. Мы церкви святой водой покроем, так и ничего не будет.

ВТОРОЙ НИЩИЙ. Все одно. Слух был, немного жить свету, в пол-пол-осьмой тысяче конец будет.

Нищие толпятся, толпой лезут к Евдокии, кричат, плачут: "Конец, конец будет миру-то!" Босый и Каптелина стараются оттеснить нищих. Евдокия, отступая, роняет мешок с мелкими деньгами, они рассыпаются. Нищие начинают подбирать, толкаясь.

НИЩАЯ *(кричит громко)*. Ой, тошно мне! Ой, тошно мне! *(Платок с нее свалился, и она вдруг залаяла по-собачьи, а потом упала в судорогах)*.

СТАРУХА-НИЩАЯ *(тихо и умиленно)*. Родимчик у ней... Падучая... Как услышит запах ладана али в церквах запоют херувимскую али достойную, либо вынесут дары, также лает собачкой, либо лягушкой квакает, либо так воет, так визжит да стонет.

БОСЫЙ *(нищим)*. Тащите, тащите кликушу... Вон царицу напужали. Идите на паперть.

ДИОСИФЕЙ. Иди на паперть, народ. Сейчас на паперти деньги давать будут.

Нищие уходят.

ЕВДОКИЯ. Страхи-то какие! *(Крестится)*.

ДИОСИФЕЙ. И на народ порча. Уж и нищие иные с бритыми бородами ходят. Я б не благославлял в церквах, кто является в блидоносном образе, с бритой головой. На страшном суде будут они не с праведниками, украшенными бородой, а с обратными еретиками.

БОСЫЙ. Был патриарх, он печаливался за опальных, утолял кровь. Ныне ж царь сколько колоколов со звонниц поснимал. Издавна известна нелюбовь демонов к колокольному звону. Ибо колокола есть защитники народа и сокрушители демонов.

ДИОСИФЕЙ. Царь Петр на Бога наступил. Монастыри притесняет, монахам деньги свои иметь не велит.

БОСЫЙ. Царь греческий Ираклий отобрал от церкви золото. Но мед обратился в золото.

ДИОСИФЕЙ. Патриарха убрал и полатынил всю нашу христианскую веру. *(Крестится)*. Пойдемте, матушка-царица Евдокия Федоровна.

ЕВДОКИЯ. Каптелина, ежели меня спрашивать будут, скажи, я в Благовещенской церкви. Вы здесь с Босым приберите.

КАПТЕЛИНА. Приберем, матушка.

Евдокия и Диосифей уходят.

КАПТЕЛИНА. Что ж ты, братец, мне-то какой гостинец из Москвы привез?

БОСЫЙ. Тебя, сестрица, не забыл. В чулане у меня для тебя приписан кафтан женский короткий штофной, золотой, по малиновой земле да юбка тафтяная дволишняя, да юбка того же штофу по желтой земле.

КАПТЕЛИНА. Спаси Бог, братец. *(Смеется)*, А я тебе мыльца заготовила.

БОСЫЙ. На что мне мыло, я студеной умываюсь.

КАПТЕЛИНА *(смеется)*. Этоль лучше? Братец, не потачь, побелись, так белее будешь. Лучше белил будешь.

Босый хочет ее обнять, она увертывается.

БОСЫЙ *(сердито)*. Видать много завела. Попадьей стать хочешь.

КАПТЕЛИНА. Хоть бы и попадьею, а такой бродяга на что мне?

БОСЫЙ. Я богомол. Я истинной веры. А попы кто? Ты песню такую слышала? "Туту шли-прошли два прохожих. Один-то поп, другой-то разбойник". Или как по-иному поется: "Монашеньки-бляшеньки и иегуменья, сводня, архиерей, потатчик".

КАПТЕЛИНА. Не шуми, не больно страшен... Слово гром по небу. Ты гром, я молонья. Ты грянешь, я отвечу.

БОСЫЙ. Ответишь, так попробуешь кия, сиречь палки.

Босый бросается на Каптелину, та бьет его в ухо наотмашь и выходит. Босый падает и поднимаясь натывается на входящего Глебова.

ГЛЕБОВ. Чего вы тут свару устроили в царицыной келье.

БОСЫЙ (*морщится*). Ухо до крови разбила.

ГЛЕБОВ (*смеется, поет*). "Как у Ванюши кудри вьются, не завьются. Как у Любушки слезы льются, не уймутся..." Чего это ты, Михайло, с любушкой полаялся?

БОСЫЙ (*потирая ухо, ворчит*). Махаметово злочастие через баб расширилось.

КАПТЕЛИНА (*входит*). Стефан... Без известия прибыл.

ГЛЕБОВ. Так спокойней. Никто не перехватит. Где Авдотья Федоровна?

КАПТЕЛИНА. Матушка в Благовещенскую церковь пошла. Она без меры рвется, лицо свое бьет, что ты ее покинул и неутешно плачет.

ГЛЕБОВ. Пойди за ней.

КАПТЕЛИНА. Мигом пойду, мигом. В голос вопит по тебе. Уж так вопит, так вопит по тебе, что ты ее покинул. Уж братец, без меры. (*Уходит*).

ГЛЕБОВ (*Босому*). Ты чего, Михайло?

БОСЫЙ. Бог в помощь, господин майор.

ГЛЕБОВ. Что, Михайло, невесел? Баба побилла? Я ее давно знаю. Брат у ней разбойник, а она ему в помощь была. Ноне же в монастырь подалась грехи замаливать.

БОСЫЙ. Это значит, вместо старых грехов запасаться новыми... И-эх... Повсюду разбойники.

ГЛЕБОВ. Верно говоришь. Без пары пистолетов по дороге не проедешь. Ездил в Танбов по рекрутскому набору и амуниции, так мешки с уздами с телеги покрала... Алешка Попугай балует с шайкой.

БОСЫЙ. Пистоль я и не заряжу. Я человек простой, мне для охраны кистенек бы завести купеческий с гирькой али посадский с камушком. А Танбов город хорош. Еще не старый, при царе Михайле построен, а уж тринадцать церквей имеет да два монастыря.

Вбегает Евдокия

ЕВДОКИЯ. Стешунько, друг мой. (*Падает Глебову на грудь, обхватывает за шею, целует, смеясь и плача*). Насилу Бог велел твои очи увидеть! Забыл скоро меня.

ГЛЕБОВ. Авдотья, что ж забыл, ежели приехал.

Каптелина на пороге показывает рукой Босому, чтоб уходил. Они уходят.

ЕВДОКИЯ (*плача*). Не умилоствовали тебя здесь мы ничем. Мало, знать, лицо твое и руки твои, и все члены твои, и сустав рук и ног твоих, мало слезами моими мыла. Мы, видать, не умели угодное сотворить.

ГЛЕБОВ. Авдотья, ну видишь, приехал.

ЕВДОКИЯ. Скоро ли тебе ехать-то с Москвы? Добивайся только, чтоб тебе быть в губернии московской, чтоб тебе ближе быть. Как-нибудь добивайся себе пользы, как лучше тебе быть, так себе и делай. Али уж набору не быть? Добивайся ты, мой батюшка, чтоб тебе сюды на воеводство. Можно это дело сделать царевне Марье Алексеевне да княгине Анне Автомоновне, да Тихону Никитичу Стрешневу.

ГЛЕБОВ. Такое дело само не сложится.

ЕВДОКИЯ. Кому бить челом, ты знаешь. А я к тебе пришлю деньги, дваста да еще триста рублей. Откупайся, как ты знаешь и кем, сули, не жалея денег. Прошу слезно у тебя и молю неутешно. Нельзя воеводой, добивайся ты себе, чтоб тебе на службе не быть. Что ни дай, от службы откупайся как-нибудь.

ГЛЕБОВ. Как же я без службы-то буду? У меня ж дети да и жена.

ЕВДОКИЯ. Это твоя Васильевна на меня намутила. За то на меня, душа моя, гневен. За то ко мне не писал.

ГЛЕБОВ. Авдотья, ты ж знаешь, что живу я с женой не так. Жена моя Татьяна Васильевна больна. Болит у нее пуп и весь прогнил, и все из него течет. Жить нельзя. А я уж дети имею, как же не жить?

ЕВДОКИЯ. Ты себе тесноты не чини. Ты поступай, как можно вам.

ГЛЕБОВ. Как же мне можно, коли я тебя люблю, Авдотья. *(Целует ее)*.

ЕВДОКИЯ *(смеясь и плача)*. Бездушник, скоро нас забыл. Так же, что сына моего нет.

ГЛЕБОВ. Царевич Алексей Петрович за рубеж отъедет к кесарю австрийскому и будет сигналу ждать, чтоб пристать к нам. Всюду недовольство. В гвардии да в армии, да в сенате, да в тяглом народе, да в духовенстве. Вон, киевский митрополит да печерский архимандрит с нами. Все в Петербурге жалуются, что знатных с незнатными в равенстве держат, всех равно в матросы и солдаты пишат, а деревни от строения городов и кораблей разорились. Не долго уж. Царя убьем, Ливонку вместе с ее незаконными дочерьми Анной да Лизаветой вместо тебя в монастырь посадим, а тебя в Москву царицей. Я ж при тебе слугой. Своего добьемся.

ЕВДОКИЯ *(смеется)*. Уж как-нибудь добивайся, с неделю не умывайся. Может, и впрямь сделается? Будешь ты у меня, Степушка, князем да генералом. Али фельдмаршелом, уж как тебе угодно, а я в том мало смысла имею. *(Смотрит на него)*. Перстень мой носишь? Носи, сердце мое, мой перстень, меня любя.

ГЛЕБОВ. И я тебе перстень привез. *(Надевает ей перстень)*.

ЕВДОКИЯ. Как приехал ты впервой для набору солдат, и начал об тебе ключарь Федор Пустынный мне говорить, чтоб в келью пустила, а я отговаривала дня с два. Ты ж прежде своего приходу прислал два меха песцовых да пару соболей и хвостов соболевых с сорок. *(Отпирает сундук)*. Вон она, шапка их тех соболей. *(Одевает, смотрит в зеркало)*. Лицом я худа стала по болезни женской да теперича ничего. Мне лекарства архиерей Ефрем Пекарев прислал и теперича ничего. *(Смотрит на Глебова)*. А где же, Степушка, галстух мой? Послала я тебе галстух, чтоб носил, душа моя. Ничего ты моего не носишь, что тебе ни дам я. Знать, я тебе не мила. Что-то ты моего не носишь. То ли твоя любовь ко мне. Ей, тошно. Что я тебе злобствовала, что ты меня покинул. Ей, сокрушу сама себя. Не забудь ты меня, не люби иную.

ГЛЕБОВ. Кого ж, Авдотья, окромя тебя? *(Крепко ее целует)*.

ЕВДОКИЯ. Ох, свет мой, что ты не прикажешь? Что тебе годно покушать?

ГЛЕБОВ. Что велишь, то и поем.

ЕВДОКИЯ. Как мне, бедной, с тобой разлучиться? Что я твоей жене сделала? Чем я жене твоей досадила, а ты жены своей слушал. *(Закрывает ему рот ладонью)*. Не говори, не говори. Я уж знаю, что скажешь. Хошь, Степушка, повеселимся? Поедем в Ефремов монастырь, в келье у монастырского архимандрита поужинаем, закажем петь всенощные молебны.

ГЛЕБОВ. Я как раз про пение и говорить хотел, да ты мне рот закрыла. Ехал я сюды да в Суздале, на ярмарке, услыхал слепцов поющих. Взял их с собой, чтоб ты послушала. *(Кричит)*. Каптелина! Пришли слепцов, которые у ворот сидят. Ключарю скажи, велено к царице в келью. *(К Евдокии)*. Толки да легенды о тебе, царице-инокине, постоянно ходят в народе, хоть народ за то наказывают и бьют.

ЕВДОКИЯ. Видать, верно любят меня да сына моего, Олешеньку. Как, Степушко, назад воротиться, письмо возьмешь сыну моему, царевичу, а ежели не застанешь, пусть письмо с верными людьми ему передадут. Пусть получит он от матери своей благословение на дело ратное за ради народа русского.

Входят двое слепцов с гусями.

ГЛЕБОВ. Слепцы! Перед вами царица и великая княгиня всея Руси великий, малый и белый, ныне в монастырской келье неправо заточенная. Спойте, слепцы, песню, которую на торгах поете.

Слепцы играют и поют.

Постригись, моя жена немилая.
Ты посхимся, моя жена постылая.
За пострижение тебе дам сто рублей.
За посхимление — все тысячу.

Я поставлю тебе нову келийку.
 Я на суздальской славной дороженьке.
 Чтоб пешие шли, конные ехали,
 На твою келийку дивовались.
 Что это во поле за келийка?
 Что это в келийке за монашенька?
 Отчего она пострижена?
 И пострижена и посхимлена?
 От отца ли она или от матери?
 От дружка ли она от любезного?
 Или от мужа от ревнивого?

З а н а в е с

Сцена 19

Петербург. Комнаты Петра. С залитым слезами лицом, стоя на коленях, Петр в домашнем халате молится перед иконой Богоматери.

ПЕТР. Ты милосердная, Пречистая дева, ты Услышательница. Ты принимаешь на свои руки и людей, которым нет возврата к благой жизни. Прими, помилуй и спаси меня. Да судит мя милосердный Бог и помилует пред праведным судом своим.

Входит Екатерина и Феофан Прокопович.

ЕКАТЕРИНА (*утирая слезы*). Петруша.

ПЕТР (*не слыша, молится*). Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас. (*Плачет*).

ЕКАТЕРИНА. Петруша, Феофан Прокопович приехал, как ты просил.

ПЕТР (*словно очнувшись, встает с колен и быстро подходит к Феофану*). Святой отче, уж осьмой день ежедневно молюсь я на коленях с горькими слезами, прося Бога внушить мне мысли, согласные с моей честью и с благом народа и государства.

ФЕОФАН. Государь, мы все с превеликою тоскою зрим, как печаль вашего императорского величества, ваше императорское здравие коротает.

ЕКАТЕРИНА. Поговори со святым отцом, Петруша. Я вас оставлю одних.

ПЕТР. Которое время?

ЕКАТЕРИНА. Уж первый час ночи.

ПЕТР. Как приедет Толстой с офицерами, сразу докладать мне. (*Екатерина уходит*). Святой отец, страх и трепет объял меня, на душу мою налегли тяжкие помышления. Как поведать вам сии страшные тайны.

ФЕОФАН. Вижу, государь, сердце ваше, сердце пресветлого монарха зело тяжкое с той поры, как своевольный царевич по привозе в заключении.

ПЕТР. Да, тяжело моему родительскому сердцу знать, что смертный приговор сыну уже готов. Верховный Суд постановил: казнь смертью без всякой пощады. (*Берет приговор, читает*). "Царевич не хотел получить наследство по кончине отца прямою и от Бога определенною дорогою, а намерен был овладеть престолом через бунтовщиков, через чужестранную цесарскую помощь и иноземные войска с разорением всего государства, при животе государя отца своего. Весь свой умысел и многих согласных с ним людей таил до последнего розыска. Подвергаем, впрочем, наш приговор в самодержавную власть".

ФЕОФАН. По здравому рассуждению, государь, и по христианскрй совести, такой наследник достоин смерти. Явно, умысел бунтовой против отца и государя через коварные вымыслы и надежду на чернь.

ПЕТР. Все то понимаю. Надобно выбирать — или они, или мы. Или преобразованная Россия, или видеть Россию в руках человека, который будет истреблять память о преобразованиях. Надобно выбирать. Среднего быть не может, ибо заявляю, что клобук не гвоздем будет прибит к голове. Но как, святой отче, как казнить родного сына. (*Плачет*). Где силы взять, отче?

ФЕОФАН. В "Священном писании", государь. Там истин-

ное наставление и рассуждение, какого наказания сие богомерзкое и авессаломову прикладу уподобляющееся намеренье сына вашего. Потому немало можно поискать от "Священного писания" образцов и статей сему делу приличных. Отцегугатель, сын Ноев, проклят был от отца и рабом брату своему осужден. Аще, кто злоречит отцу своему и матери своей, смертью да умрет. То же и сам Христос воспоминает у Матфея во главе пятнадцать и у Марка во главе семь. И в притчах Соломоновых сказано: "Злословящий отца или мать угашает светильник свой. Сам Христос повиновался отцу своему мнимому Иосифу и матери своей, как указано у Луки во главе второй.

ПЕТР. Сия икона Богоматери, перед которой молюсь, была со мной под Полтавою. Карл XII громил тогда земли русские и к кому, как не к ней, обратиться было. Перед началом сражения повелел я носить сей образ Богоматери в полки, и сам со слезами молил царицу небесную о победе, которая должна была решить судьбу России. Тогда молитва моя была услышана. Услышит ли теперь молитву мою Заступница русских? Ныне так же Полтавское сражение должен вести я в сердце моем, ибо наследник — есть будущая Россия.

ФЕОФАН. Правда у вас, государь. Совесть ваша остается чистой в дни страшного испытания. Да и впервой ли подобное? Вспомните, что и византийский император Константин Великий казнил сына своего за измену.

ПЕТР. Пока жив разрушитель, дух мой спокоен не может быть. Тем более, с чужим войском намеревался он в Россию идти и так о престоле отеческом мыслить. Потому велел я, чтоб виновного судили не яко царского сына, а яко подданного.

Входит Екатерина.

ЕКАТЕРИНА. Петруша, Петр Андреевич с офицерами.

Входят Толстой, Румянцев и Мещерский.

ТОЛСТОЙ. Всемиловивший государь. Только вернулись мы из крепости, где прочитали осужденному приговор.

ПЕТР. Что царевич?

ТОЛСТОЙ. Едва царевич о смертной казни услышал, то зело побледнел и пошатнулся, так что мы едва успели его под руки схватить и тем от падения долу избавить. Мы уложили царевича на кровать и поручили его слугам и лекарям. Одним лишь едва успокоили, что приговор Верховного Суда еще вашим величеством не утвержден.

ПЕТР. Сколько слуг при нем?

ТОЛСТОЙ. Постельничный да мастер гардеробный, да мастер кухонный. Ныне при переводе царевича из дому в крепость все отобраны.

ПЕТР. Возьмешь и этих.

ТОЛСТОЙ. Понял, государь. Надобно крепостного караулу трех-четыре солдат мне, чтоб с теми солдатами всех челядинцев, якобы к допросу в коллегия отправив и там тайно под стражею задержать.

ПЕТР. Начальнику стражи велишь отойти от наружных дверей каземата царевича вместе с иною стражею, якобы стук оружия недужному царевичу беспокойство творит и вредоносен может быть.

ТОЛСТОЙ. Понял, государь.

ПЕТР (*к Феофану*). Благослови меня, святой отче.

ФЕОФАН. Государь благий, помыслил ли ты, да не каяться будешь?

ПЕТР. Злу, отче святой, мера грехов его преисполнилась, и всякое милосердие от сего часу в тяжкий грех нам будет и пред Богом, и пред славным отечеством нашим. Благослови меня, владыко, на указ зело тяжкий моему родительскому сердцу и моли всеблагого Бога, да простит мое окаянство.

ФЕОФАН (*молится и благословляет*). Да будет воля твоя, пресветлый государь. Твори, яко же пошлет тебе на разум сердцеводец Бог.

ПЕТР (*подойдя к Толстому и офицерам*). Слуги мои верные, во многих обстоятельства испытанные. Се час наступил, да великую мне и государству моему услугу сделаете. Оный зловредный Алексей, его же сыном и царевичем срамлюсь звать, презрев клятву, перед Богом данную, скрыл от нас большую часть преступлений и общенников. Суд Верховный рос-

сийский, яко вы ведаете, праведно творя и на многие законы гражданские и от "Святого писания" указуя, его, царевича, достойно к понесению смертной казни судил. Яко человек и яко отец, я болезную о нем сердцем, но яко справедливый государь знаю, что нетерпимо отечеству несчастья от моего сердолобия, и должен я ответ строгий дать Богу, на царство меня помазавшего и на престол Российской державы посадившего. Того ради, слуги мои верные, спешно идите к одру преступного Алексея и казните его смертью, яко подобает казнить изменников государю и отечеству. Не хочу поругать царскую кровь всенародной казнью к радости черни, но да свершится сей предел тихо и неслышно, яко бы ему умерша от естества, предназначенного смертью. Идите и исполните то, что хочет законный ваш государь и изволит Бог. В Его же державе мы все есьм.

ТОЛСТОЙ. Всемиловитейший государь, веление ваше исполним.

РУМЯНЦЕВ. Я чту вас, государь, яко величайшего моего благотворца, и сделаю все, что вы велите. Надо быть камнем или какою иною бездушною вещью, чтоб от благодарствия вам, государь, отречься.

ПЕТР. Где Анна? *(Входит Анна Кремер)*. Анна поедешь с ними господами в крепость. Когда совершится, тебя позовут. Ты омоешь тело царевича, нарядишь его и уложишь во гроб.

АННА. Сделаю, государь, как вы велите.

ПЕТР. Что сотворите ныне ночью, что увидите очами своими и услышите ушами, сохраните глубоко в сердцах своих, никому не поведавая о том из живущих на земле.

ТОЛСТОЙ. Сохраним тайну государеву даже ценой живота своего.

Феофан крестит их и благословляет. Анна Кремер, Толстой и офицеры уходят.

ПЕТР. Верховному служению государству я приношу в жертву своего сына.

Уходит в боковую дверь, поддерживаемый Екатериной и Феофаном.

З а н а в е с

Сцена 21

Камера царевича Алексея, Полутьма освещена лишь горячей перед образами лампадой. Царевич спит, сбросив одеяло, полуобнаженный, вскрикивает и стонет во сне. Открывается дверь камеры, тихо входят Толстой, Румянцев и Мещерский. Останавливаются и смотрят на царевича.

ТОЛСТОЙ *(шепотом)*. Стонет царевич, разметавши одежды, якобы от некоего страшного видения.

РУМЯНЦЕВ *(шепотом)*. И вправду недужен вельми. Потому, выслушав приговор, святого причастия сподобился из страха не умереть, не покаявшись в грехах.

ТОЛСТОЙ *(шепотом)*. Однако лекарь говорил — зравие ныне далеко лучше стало и к совершенному оздоровлению надежду крепкую подает. Потому сам собой и не умрет.

МЕЩЕРСКИЙ *(шепотом, с дрожью в голосе)*. Господа, не лучше ли его мирного покою не нарушати? Не лучше ли его во сне смерти придати и тем от лютого мучения избавити?

ТОЛСТОЙ. Лучше бы. Одначе совесть на душу налегла, да не умрет без молитвы. Так что укрепимся силами. *(Подходит и тихо толкает царевича в плечо)*. Ваше царское величество. *(Царевич стонет сильнее)*. Ваше царское величество, восстаньте.

МЕЩЕРСКИЙ *(в страхе)*. Очеса открывает.

Алексей поднимается и садится на постели. Смотрит, недоумевая и ничего не говоря.

ТОЛСТОЙ. Государь-царевич, по суду знатнейших людей земли русской, ты приговорен к смертной казни за многие измены государю, родителю твоему, и отечеству. А мы, по его императорского величества указу, пришли к тебе суд исполнить. Того ради молитвою и покаянием приготовься к твоему исходу, ибо время жизни твоей близко есть к концу своему.

АЛЕКСЕЙ *(вскакивает с воплями и плачем, бежит к двери)*. Душегубство? Люди добрые! Народ! Убивают! *(Борется*

удвери с Мещерским. Мещерский отталкивает царевича на седину камеры).

ТОЛСТОЙ. Не возьмешь ты успеха из крика того. Готовься к смерти, как подобает царскому сыну.

АЛЕКСЕЙ *(падает на пол с плачем)*. Горе мне, бедному, горе мне, от царской крови рожденному! Не лучше ли мне родиться от последнего подданного.

ТОЛСТОЙ. Утешься. Государь, яко отец простил тебе все погрешения и будет молиться о душе твоей. Но яко государь-монарх, он измен твоих и клятв нарушения простить не мог, боясь в некое злоключение отечество свое повергнуть через то. Того для, отвергнувши вопли и слезы, единых баб свойства, прими удел твой, яко же подобает между царской крови, и сотвори последнюю молитву об отпущении грехов своих.

АЛЕКСЕЙ *(плачет и кричит)*. Нет, не отец он мне, не баюшка мой! Детоубийца! Детоубийца! Не отец он народа русского! Мучитель! Детоубийца! Всю Россию измордовал, замутил! Детоубийца!

ТОЛСТОЙ. Видим, молиться ты не хочешь. Берите его, господа, под руки, ставьте на колени. *(Румянцев и Мещерский хватают Алексея и после короткой борьбы ставят на колени)*. Один, кто из вас, говорите за него молитву.

МЕЩЕРСКИЙ *(в страхе)*. Говори ты, Румянцев. У меня язык не идет.

РУМЯНЦЕВ. И я запинаюсь.

ТОЛСТОЙ. Скорей, господа, говорите.

РУМЯНЦЕВ. Господи, в руци твои предаю дух мой.

АЛЕКСЕЙ *(кричит и плачет)*. Господа, пустите меня, молю, пустите, стану государем, всех помилую да одарю... Афросиньюшка, матушка моя, зачем покинула меня... Селебена, мальчика нашего, удавила и отбросила. *(Плачет)*. Мальчика нашего в спирт покладут...

МЕЩЕРСКИЙ. Что говорит, разобрать нельзя. Разума помячение сталося.

ТОЛСТОЙ *(нетерпеливо)*. Скорей, господа.

РУМЯНЦЕВ. Господи, упокой душу раба твоего, Алексея, в селении праведных, презирая погрешения его, яко человеколюбец.

ТОЛСТОЙ. Вали его на ложницу спиной! *(Все трое валят Алексея на постель)*. От возглавия два пуховика бери... Румянцев! Главу накрывай ему! Главу! За ноги держать... Мещерский, за ноги! Пригнетай!

АЛЕКСЕЙ *(Вырвав голову из-под подушек)*. А-а-а! А-а-а! О-о-о!

ТОЛСТОЙ. Пригнетай! *(Давят подушками)*.

МЕЩЕРСКИЙ *(дрожащим голосом)*. Все... Будя... Движения рук и ног утихли.

ТОЛСТОЙ *(прикладывает ухо к груди Алексея)*. Сердце биться перестало.

РУМЯНЦЕВ *(дрожащим голосом)*. Скоро сделалось, ради его немощи.

ТОЛСТОЙ. Царевич Алексей Петрович с сего света в вечную жизнь переселился. Уложим тело царевича, якобы спящего, и помолимся Богу о душе.

Толстой, Румянцев и Мещерский подходят к образам, перед которыми горит лампада, и молятся: "Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас".

РУМЯНЦЕВ. Я, господа, во многих сражениях бывал, но такого страха николи не терпел.

ТОЛСТОЙ. Господин Мещерский, поди покличь госпожу Кремер. *(Мещерский выходит)*. Ты, Румянцев, с Мещерским здесь останетесь, чтоб кто-либо из сторонних сюда не вошел, я же к Петру Алексеевичу с донесением о кончине царевича поеду. Петр Алексеевич велел сразу ехать и будить в случае надобности. Но думаю, он не спит, дожидается.

РУМЯНЦЕВ. Час который?

ТОЛСТОЙ. Светает. Видать, пятый. *(Входит Анна и Мещерский, неся гроб)*. Госпожа Кремер, тело царевичево совместно с офицерами опрятайте и к погребению изготовьте. Облеките в светлые царские одежды.

АННА. Гроб простой из плохих досок. Подобаает ли царскому сыну?

ТОЛСТОЙ. Гроб для погребения иной готовят, дубовый, черным бархатом обтянутый. Пока же в сей кладите. Простой,

чтоб подозрения не было. Пока смерть царевича не объявят, заказали у плотника для иного арестанта.

АННА (*подходит к телу царевича, укрытому с головой одеялом*). Ежели голова отрублена, чтоб приставить во гробе, надо бы шею шейным платком обвязать.

ТОЛСТОЙ. Голова цела, иначе лице синее. Белил бы положить надобно.

АННА. Ежели задушен, то и шея синяя. Все одно, шейный платок надобно.

ТОЛСТОЙ. Приступайте, господа. В седьмом часу, когда колокол церкви Петра и Павла возвестит о кончине царевича, чтоб он был обряжен и лежал в гробу.

Занавес

Сцена 22

Петербург. Соборная церковь Петра и Павла в Петропавловской крепости. За цепью солдат-преображенцев толпится народ разного чина и сословия. Тут же иностранные дипломаты и иностранцы.

ПОСАДСКИЙ (*мужику*). Три дни, пока тело царевичево отпевали в церкви "Пресвятые и живоначальные троицы", я там бывал. Ныне же, как узнал, что погребение будет в церкви Святых апостолов Петра и Павла да дозволено будет всякого чина людям, кто желает, приходиться ко гробу его, царевичеву, и видеть тело его и с оным прощаться, сюды поспешил.

МУЖИК. Я тоже любитель похорон царствующих особ, особливо, когда войско в окончание дает по батальону залф.

ГАННОВЕРСКИЙ ПОСЛАННИК (*к Шефирову*). Господин Шефиров, от имени ганноверского двора и от имени иных иностранных резидентов при русском дворе, хотел бы узнать подробности о смерти принца Алексея.

ШЕФИРОВ. Я, господа, специально послан к вам от чужеземной коллегии по указу государя, чтоб пресечь неверные и противоречивые слухи при дворе, в народе и среди иностранцев. Все так учинилось. После того как царевичу был прочитан смертный приговор, вынесенный сенатом за многие измены и политические преступления против государя и отечества,

от сильного волнения последовал с царевичем апоплексический удар.

ГАННОВЕРСКИЙ ПОСЛАННИК. Был ли смертный приговор утвержден императором?

ШЕФИРОВ. Нет, господа. Смертный приговор государем утвержден не был, и я имею сведения, что государь намеревался царевича помиловать, заменив смерть ссылкой в монастырь. Но когда вестник объявил, что царевич не переживет вечера и желает говорить с отцом, его величество отправился к умирающему царевичу, который, увидав отца, со слезами сказал, что виноват перед Богом и государем, не надеется освободиться от болезни и молит снять с него проклятие, простить его преступления, благословить его и молиться за душу его. Его императорское величество не мог не заплакать, дал ему благословение и прощение и, заливаясь слезами, удалился. Едва он сел в шлюпку, чтоб отъехать от крепости, как прибыл новый вестник с сообщением, что Бог принял душу царевича.

ГАННОВЕРСКИЙ ПОСЛАННИК. От имени ганноверского двора выражаю свою благодарность за разъяснение. (*Шефиров откланивается и уходит*).

ПЛЕЕР (*прусскому резиденту*). Я опасаюсь, что письмо мое не было вскрыто в здешней канцелярии и обнаружилось совсем не то, что здесь обнародовано и напечатано. Носится тайная молва, что принц погиб от меча или топора. (*Шепотом*) Сам царь отрубил ему голову.

ПРУССКИЙ РЕЗИДЕНТ. Известия о смерти царевича очень различны. Возможно, действительно, после объявления смертного приговора он пришел в такой ужас, что с ним сделался удар и он скончался. Но очень немногие считают, что его смерть естественна.

ГОЛЛАНДСКИЙ ПОСЛАННИК. Опасно объявлять, что думают. Мне, как и вам, господин Плеер, запрещен проезд ко двору, потому что мы слишком смело говорили, и обоим нам грозит отзыв по требованию русского правительства.

ПРУССКИЙ РЕЗИДЕНТ. Что сообщили вы генеральным штатам о смерти принца?

ГОЛЛАНДСКИЙ ПОСЛАННИК. Я сообщил, что он умер от растворения жил.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОСЛАННИК. У меня, господа, абсолютно достоверные сведения. Принц скончался около пяти часов вечера от яда. К жене моей ходит француженка мадам Ренбер, которая живет с семьей своей при крепости, следя за чистотой белья и прочего. Повар и челядинцы по приказу коменданта отняли у нее кухню и готовили на ней пищу принцу, и она часто видела, как принц кушал. Однако в тот день был караул и никого мимо не пропускали. Она говорила дочери, может принц слишком болен, что никого не пропускают. И видела она, что кушанья назад принесены. "Что за яства?", — спросила она. "Со стола принца принесены", — ответил лакей. А утром следующим пекли у нее в доме пироги, и хлебник сказал: "Пироги печены для поминания. Принц умер".

ПРУССКИЙ ПОСЛАННИК. Но почему вы знаете, что именно от яда?

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОСЛАННИК. Мадам Ренбер была в гостях у жены аптекаря Бера, когда пришел к ней лекарь-француз и сказал, что его послал комендант крепости, чтоб заказать крепкое питье, потому что принц очень болен. Услышав такое, Бер побледнел, затрепетал и был в большом замешательстве. Мадам Ренбер так удивилась, что спросила, что с ним сделалось. Он ничего не мог ответить. Меж тем, пришел сам комендант, почти в таком же состоянии, как и аптекарь, и объявил, что надобно поспешить, потому что принц очень болен от удара паралича. Аптекарь вручил ему серебряный стакан с крышкой, который комендант понес к принцу, всю дорогу шатаясь, как пьяный. Когда лекарь-француз вернулся, принц уже был в конвульсиях, и после жестоких страданий около пяти часов пополудни скончался. По императорскому повелению, внутренности из трупа были вынуты.

ПРУССКИЙ ПОСЛАННИК. Пойдемте, господа, скоро церемония погребения. *(Уходят).*

Народ, толпящийся за цепью солдат, перешептывается. Многие плачут.

СТАРУХА. По государыни-царицы наговору, государь царевича своими руками забил до смерти. А наговорила она, го-

сударыня-царица так: "Как тебя не станет, мне от твоего сына и житья не будет". И государь, послушав ее, бил его, царевича, своими руками кнутом, оттого он, царевич, и умер.

ЖЕНЩИНА. Царица Екатерина Алексеевна, Бог знает, какого роду. Мыла сорочки с чухонками. По ее наговору и царевич умер.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК В КАРТУЗЕ. Не так было. В Петербурге государь собрал сенат, архиереев и других многих людей. В ту палату вошел царевич, не снял шапку перед государем и сказал: "Что мне, государь-батюшка, с тобой судиться. Я всегда перед тобой виноват". И пошел вон. А государь молвил: "Смотрите, отцы святые, так ли дети отцов почитают". И приехав в свой дом, царевича бил дубинкой. От тех побоев царевич умер.

МУЖИК (крестится). Вынос во гробе тела его, царевича, к погребению. *(Слышно пение и появляется процессия. Впереди несут икону, за иконой певчие, потом духовенство).* Перед гробом дьяконы и протодьяконы с кадила...

ПОСАДСКИЙ. Гроб отверзен, а сзади доску несут.

Плач. Многие из народа становятся на колени и кланяются гробу.

СТАРИК. Не его, царевича, несут. Солдата беглого несут, которого после казни в царский гроб поклали.

ЖЕНЩИНА. А где ж царевич?

СТАРИК. Слыхал я, жив царевич и идет с силою своей против царского войска под Киев.

МУЖИК (умиленно). За гробом царевича изволит высокою своею особою идти его императорское величество и ее величество во скорби.

Петр и Екатерина проходят в трауре со скорбными лицами. За ними следуют вельможи и прочив знатные господа. Гроб устанавливают на возвышении.

ДЬЯЧОК. Сейчас духовная церемония будет. Надгробное пение к погребению. Сейчас запоют стих: "Зряще мя безглас-

на...". *(Хор поет)*. Гляди, епископ Корельский и Ладожский Аарон отпевают. *(Крестится и подпеваает)*.

ПОДЪЯЧИЙ. Погребать будут царевича близь супруги его, принцессы прусской, которая от аборту скончалась.

СТАРУХА *(сердито)*. Ну, народ, в церкви, как на торге. Помолиться не дадут, окаянные.

Звучит хор и молитва.

МУЖИК *(умиленно)*. Государь и государыня изволят с телом царевичевым прощаться и оное целовать.

ПОСАДСКИЙ. После господа министры и прочие персоны пойдут, а после уж иному народу разрешат тело царевичево в руку целовать. Ткнусь-ка поближе. *(Протискивается вперед)*

Под пение хора длинная процессия движется мимо открытого гроба, и каждый целует царевича в руку. Проходит Плеер и прусский посланник.

ПРУССКИЙ ПОСЛАННИК. Голова принца несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья. И щеки набелены.

ПЛЕЕР. Теперь главное, кто наследник. Объявленный наследник еще младенец и слаб здоровьем. А сам император Петр тоже весьма болен. От барона Остермана известия, что диктует своему кабинетсекретарю Макарову политическое завещание.

ПРУССКИЙ ПОСЛАННИК. Что ж в том завещании?

ПЛЕЕР. План по будущему завоеванию Российской империей господства в мире.

ПРУССКИЙ ПОСЛАННИК. Правда ли?

ПЛЕЕР. Барон Остерман обещал добыть отрывки.

ПРУССКИЙ ПОСЛАННИК. Тише, Толстой идет. *(К Толстому)*. Господин Толстой, надо ли объявлять в посольствах траур?

ТОЛСТОЙ. Никакого траура не будет, потому что царевич умер как преступник.

Двигается мимо гроба царевича процессия. Звучит хор.

Занавес



Владимир МАТЛИН

НАУЧНАЯ ИСТИНА

Дождливый осенним вечером 1941-го года в дверь каморки в полуподвале дома номер восемь по Шорной улице громко постучали. Еще недавно здесь жил дворник, но с 16-го июля, когда по приказу германских властей евреи оккупированного Минска были переведены в специально отведенный для них район, в каморке поселился профессор Иоффе с женой.

Громкий стук в дверь обычно не сулил обитателям гетто ничего хорошего...

Профессор молча переглянулся с женой и приблизился к двери (прихожей не было), дверь открывалась прямо на улицу.

— Кто там? — спросил профессор, на всякий случай, по-немецки.

Вежливый голос ответил на безукоризненном немецком:

— Могу я поговорить с господином профессором Иоффе?

Профессор с трудом отодвинул засов, явно рассчитанный

на силу дворника, приоткрыл дверь, пропуская в комнату высокую фигуру в мокром черном плаще.

Вошедший стянул с головы капюшон, пригладил ладонями растрепавшиеся волосы и посмотрел на профессора. Его молодое румяное лицо со светлыми глазами кого-то напоминало,

Чем могу быть полезен? — спросил профессор по-немецки и поклонился — такой вопрос следовало задавать с поклоном, он усвоил это в юности, в Берлинском университете.

Молодой человек развел руками и сказал по-русски:

— Неужели я так здорово изменился? Семен Евсеевич, это же я, Раухе, не узнаете?

— Господи! — скорбно выдохнул профессор. — Алик! Ну, как я мог не узнать вас сразу? Входите, входите!

Входить было некуда, Раухе и так был в комнате. Он снял мокрый плащ и, свернув, положил его на пол у двери. Рядом с плащом он поставил толстый портфель.

— Позвольте представить вас моей супруге. Ева, это Алик Раухе, ты слышала о нем тысячу раз. Ну, диссертация по хазарам... Помнишь, его статья в "Вестнике" наделала шуму?

Раухе покраснел и замотал головой:

— Что вы, Семен Евсеевич!..

Представляясь Еве Исаевне, он шаркнул ногой:

— Альберт Раухе. Очень приятно.

Его отглаженный костюм странно контрастировал со всей обстановкой.

Ева Исаевна освободила для него единственный табурет, а сама села на кровать, покрытую стеганым одеялом.

— Садитесь, прошу. Видите, как живем?..

Она повела рукой, словно приглашая осмотреть закопченные стены, расшатанный деревянный стол, железную печурку в углу.

— Это не самое страшное... — сказал профессор, присаживаясь на кровать рядом с женой. Он сильно похудел за то время, что Раухе его не видел, лицо потемнело, но длинные седые волосы не поредели, и голубые глаза все так же ясно смотрели из-под густых бровей.

— А что самое страшное? Каждый день ждешь... — ее голос прервался, она плотно сжала губы и закрыла глаза.

— Ладно, Ева, — профессор дотронулся до ее руки. — Не надо опять об этом... Давай лучше послушаем Алика.

Он повернулся к Раухе:

— Как вы очутились здесь? Вы ведь в гетто не живете, верно?

— Нет, нет, я живу в Берлине. Собственно, вся моя семья живет в Берлине: мой отец получил назначение на довольно большую должность.

— В Берлине? — переспросила Ева Исаевна.

— Да, в Берлине. Я служу в Министерстве по делам восточных территорий. Мы переехали еще в начале августа... Он смущенно улыбнулся. — И знаете, с тех пор я ни разу не говорил по-русски.

— Значит, в министерстве? — перебил его профессор.

Раухе пожал плечами:

— Но это не значит, что я стал шовинистом. Я научный консультант по истории и этнографии южной России — это, собственно, и есть моя специальность. Люди в министерстве, между нами говоря, не особенно разбираются во всем этом. — Он вдруг рассмеялся. — Простите, я вспомнил, как один коллега на днях перепутал грузин с гуннами, а другой всерьез утверждал, что цыгане — потомки скифов. Так что, видите, с какой публикой приходится иметь дело.

— Вижу, — неопределенно отозвался Семен Евсеевич.

— Я это рассказываю не без умысла. Я ведь к вам по делу: как раз с одним из вопросов!

— Насчет грузин и гуннов?

Раухе вежливо улыбнулся шутке профессора:

— Нет, гораздо хуже — насчет караимов. Вы не представляете, что творится в министерстве из-за этих караимов. Прямо война междуусобная...

Раухе встал с табуретки и попытался пройти по комнате, но тут же натолкнулся на стену и сел на место:

— Они просто одержимы хазарской теорией! Столько серьезных работ написано — взять хоть ваши! Казалось бы, камня на камне не осталось от этих выдумок, а нет — поговорите с моими коллегами, они вам скажут, что это точно: караимы

происходят от хазар. А какие доказательства? А вот, караимы говорят на тюркском языке. Но простите, я им возражаю, восточно-европейские евреи говорят на идиш, то есть на германском диалекте, — не станете же вы утверждать, что они произошли от немцев?

Раухе сокрушенно всплеснул руками.

— Знаете, Семен Евсеевич, по-моему, хазарская теория сродни мифотворчеству. Жили когда-то мифические хазары... Пушкин их упомянул... А тут вдруг перед тобой — живой потомок хазар. Романтично, что ли?.. А последователь еврейской секты — не романтично.

— Да нет, Алик, — профессор Иоффе вздохнул. — Я думаю, все гораздо проще: сами караимы в России настаивали на этой теории... правильнее сказать — гипотезе. Соображения у них были сугубо практические: отмежеваться от еврейства, чтобы к ним не применяли антиеврейских законов. И весьма преуспели. Все это носило чисто конъюнктурный характер поначалу. А потом — пожалуйста — "теория"... Обратите внимание, что в других странах, в Египте, скажем, тамошним караимам и в голову не приходило отмежевываться от еврейского происхождения. Наоборот, на каждом углу кричали, что они-то и есть подлинные евреи!

— Господи, да я все эти доводы тысячу раз...

Раухе вскочил, схватил с пола свой портфель, открыл его и начал копаться в бумагах. Потом махнул рукой:

— Я вам лучше так все расскажу, без этих докладных.

Он сделал паузу и продолжил:

— Не знаю, каким образом, но еще до войны, в циркуляре от второго января тридцать девятого года было записано, что караимы произошли от хазар и потому в расовом отношении ничего общего с евреями не имеют. Затем начинается война, наши вступают в Польшу, Литву; на восточных территориях оказываются тысячи караимов — и никто их евреями не считает. Наконец, наши приходят в Крым, и вот там начинается!.. Кто такие крымчаки? Евреи? Но они не отличимы от караимов! Значит, и караимы — евреи? И вот уже в Киеве каких-то караимов хватают, как евреев. А из Трокая, от главы караи-

мов идут отчаянные жалобы. Появляются ходатаи: караимы, де, не евреи. К этому времени я уже работал в министерстве, и мне предложили написать объяснительную записку. Я пишу, как есть: что крымчаки — евреи, что караимы — тоже евреи, но имеют некоторые религиозные отличия: не признают Талмуд, не верят в приход Мессии, не едят горячей пищи по субботам... Ну, вы знаете. И вот эта записка с сопроводительным письмом моего непосредственного начальника попадает к самому министру, к Розенбергу... Все это строго между нами, Семен Евсеевич, вы должны понять...

Раухе понизил голос:

— Тот, говорят, прямо рассвирепел. Что же получается? Циркуляр от тридцать девятого года неверен — и вся политика в этом вопросе ошибочная? А люди, которые все это делали — они здесь, в министерстве, и они, конечно, насмерть бьются за свою правоту. Ох, Семен Евсеевич, если бы вы только знали! До научной истины никому дела нет — у каждого своя чиновничья амбиция. Ну и пошло! Пишут опровержения на мою докладную, цитируют Фирковича, вытащили книжки советских ученых. Хазары — и все тут!..

Раухе перевел дух. Иоффе тоже молчал. Ева Исаевна сидела сосредоточенная, с закрытыми глазами, и невозможно было понять, слушает ли она разговор или прислушивается к звукам, доносящимся снаружи.

— Вот тогда я и придумал ход.

Раухе торжествующе посмотрел на супругов:

— Я сказал: давайте проведем экспертизу. Давайте выслушаем мнение по этому вопросу крупных еврейских историков. Кто же может знать предмет лучше?

— Еврейских историков? — переспросил профессор. — Это, собственно, как понимать? Имеются в виду историки — евреи, по национальности, или специалисты по истории евреев?

— Ну, это значит: евреи — специалисты в данном вопросе. Там, в министерстве меня отлично поняли. И согласились! Можете себе представить?

— Согласились, — проговорил профессор. — Ну, и кто же эти "еврейские историки"?

Раухе хлопнул себя ладонями по коленям:

— А уж кандидатуры подсказал я... Вы знаете, откуда я сейчас приехал?

— Из Берлина. По-моему, вы сказали — из Берлина.

— Я живу в Берлине. А сюда я приехал непосредственно из Варшавы. А там я виделся... догадайтесь, с кем? С профессором Балабаном!

— С Меиром? — оживился Семен Евсеевич. — Как он там?

Раухе покачал головой:

— Нельзя сказать, что хорошо... В общем, так же, как вы.

— В гетто?

— Да, но... Я сказал профессору Балабану, кое-что можно изменить... в известных пределах, конечно. Я никакой административной власти не имею, но я получил заверения своего непосредственного начальника, а он человек влиятельный и очень заинтересован в результатах этой экспертизы. В двух словах я могу объяснить ситуацию. Он в министерстве человек новый, и с большим будущим, как все говорят. Он не связан ошибками прошлого руководства и сразу поддержал мою докладную. Для меня это вопрос научной истины, а для него — карьеры...

— Если я догадался правильно, меня тоже привлекают для экспертизы?

— Конечно! Господи, разве я до сих пор этого не сказал? Вот же, вот же...

Он опять схватил свой портфель и извлек плотную коричневую папку. Из нее он бережно вынул документ на бланке, украшенном орлом со свастикой в когтях.

— Вот, пожалуйста, официальная рекомендация привлечь вас в качестве эксперта.

Он положил бумагу на одеяло рядом с профессором. Тот, не притрагиваясь, разглядывал ее с интересом. Через некоторое время он проговорил без всякого выражения:

— Чуть ли не все мои работы перечислены...

— А как же, — с гордостью отозвался Раухе, — я целый день провел в библиотеке. Это было не просто: в общем фонде их нет. Ну, вы знаете государственную политику в отношении

неарийских ученых... Но в специальном хранилище я разыскал. Да! Можете себе представить, — я держал в руках даже рукопись вашей диссертации! С вашими поправками — можете представить?..

Это замечание не произвело на Иоффе впечатления. Все тем же бесцветным голосом он сказал:

— Вы говорите, — научная истина. А привлекли для экспертизы только противников хазарской теории: Балабана, меня... кого еще?

— И что из того? — Раухе искренне недоумевал. — Вы же сами говорите, что это никакая не теория, а просто политическая спекуляция...

— Да они их убьют! Они их будут убивать, как нас, ты что — не понимаешь? — вдруг прокричала срывающимся голосом Ева Исаевна. Лицо ее стало пунцовым. Этих людей надо спасти, слышишь, Семен? Иначе их будут убивать, как евреев!

— Ева, ради Бога, успокойся! — Иоффе взял жену за руку. — Почему ты кричишь? Мы же только обсуждаем...

— Как ты можешь это обсуждать? Он предлагает уничтожить еще один народ — ты это будешь обсуждать?

— Почему же уничтожить? — протестовал Раухе. — Караимы — евреи, и должны разделять судьбу всего еврейского народа.

— Это значит — погибнуть! Вы, молодой человек, не знаете, что происходит? Нас заперли в гетто, сказали — чтобы охранить от толпы, но людей все время убивают. Уже два раза были погромы — власти ничего не сделали. На прошлой неделе опять расстреляли заложников... Люди мрут на этих принудительных работах... Неужели не ясно, чем это кончится?

— Ева, зачем ты все это говоришь?

— Как это "зачем"? Он приезжает из Берлина, от тех, кто все это сделал, и рассуждает с тобой о научной истине... А, на самом деле, они — убийцы, а он — с ними!..

Табуретка с грохотом отлетела в сторону. Раухе вскочил на ноги, лицо его было искажено. Он пытался что-то сказать, но не мог. Иоффе сжал руку Евы Исаевны, и она замолчала.

Тяжелая пауза длилась несколько секунд; наконец Раухе произнес:

— Я должен был... мне с самого начала следовало... — Он перевел дух. — Я вполне понимаю ваше положение, оно, действительно, ужасно. Наверное, я должен был начать с того, что не одобряю многого... Зачем нужно запереть в гетто таких людей, как вы? Или профессор Балабан? Все эти жестокости мне неприятны. Но от меня ничего не зависит. Мое дело — история, а этим занимаются другие люди. Если бы вы знали — какие... Но все же решения принимают не эти люди, они лишь исполнители. А такого решения — намеренно истребить целый народ — не существует. Я это могу сказать определенно, я бы сказал, если бы такое решение где-то приняли. — Голос его окреп, он говорил уже спокойно. — А что касается караимов, то... Ева Исаевна, стоит ли за них так беспокоиться? Вы знаете, сколько они причинили вреда остальным евреям? Сколько гадостей о евреях написали караимские х а х а м ы? Один Фиркович чего стоит! Это он в 1859 году написал в Петербург, в сенат: "Караимам не присущи те пороки, которыми обладают евреи". Потому что, де, когда евреи распяли Христа, караимы жили в Крыму. А караимы как еврейская секта только появились через восемь веков после Христа... И вот эту чушь надо терпеть? Семен Евсеевич, неужели истории больше не существует?

Ева Исаевна хотела что-то сказать, но профессор опять сжал ее руку — она только покачала головой.

— Не знаю, Алик, что случилось с историей, — проговорил Иоффе, — Я больше ничего не понимаю...

— Но мы говорим о происхождении караимов, о том, что к хазарам они отношения не имеют. Хотя бы потому, что хазары исповедовали иудаизм в его обычном виде — с Талмудом, Мессией, раввинами, а караимы — нет! Это же исторические факты!

Профессор Иоффе вздохнул и покосился на лежавший рядом с ним на кровати документ — имперский орел со свастикой в когтях хищно смотрел по сторонам.

— Не знаю, Алик. Все это совсем не просто...

— Но позвольте! Не согласитесь же вы с хазарской теорией?

— А почему нет? — сказал профессор, твердо глядя в глаза

Раухе. — Вполне возможно... Караимы говорят по-тюркски как хазары...

Раухе дернулся, как от удара. Он хотел что-то сказать, затем резко повернулся к стенке, схватил с пола свой плащ и начал его надевать. Рука застряла в рукаве. Он высвободил руку, бросил плащ на пол. Затем повернулся к профессору:

— Как вы можете, Семен Евсеевич?! Слышать такое от вас... от вас! Вы для меня были всегда воплощением ученого... если угодно — идеалом. — На глазах у Раухе выступили слезы. — Господи, вы, наверное, и не помните... Однажды на семинаре по скифам... вы еще, помню, запоздали. И вдруг заговорили не о скифах, а о науке — о ее великой истине, которая выше всякой конъюнктуры. Это ваши слова! Вы очень горячо говорили, и тогда, в тридцать седьмом году, они звучали потрясающе.. А я нашел в них опору, смысл своей жизни. Посудите: в университете мне вбивали в голову, что главное — интересы пролетарской революции; дома отец шепотом объяснял историческую роль германской расы. А я знал, что на свете есть одна истина — наука! Как вы можете, Семен Евсеевич!..

Профессор тяжело вздохнул:

— Семинар по скифам? Не помню. Но я очень хорошо помню тот день. Это было девятнадцатого февраля, в тот день арестовали Якова, моего брата. И то, что я говорил вам, предназначалось не вам, студентам, а ему... Это были мои последние слова в нашем долгом споре. Он был младшим, я его очень любил, но мы спорили... Он был предан им, как... Он был героем гражданской войны, командовал округом. Даже перед расстрелом — нам потом сказали — он кричал "да здравствует Сталин". Когда я говорил об исторической правде, он смеялся. Он повторял, что правда — это то, что в интересах партии. Я его очень любил. Меня не радовало, что в нашем споре я оказался прав. Я, в самом деле, был тогда убежден, что выше науки правды быть не может.

— Тогда?... А теперь?

Профессор покачал головой:

— Не знаю, Алик, это очень сложно... — Он подумал и, показав на документ, сказал уже другим тоном:

— Хорошо, я принимаю предложение. Свое заключение я отправлю по почте. Ничего, если оно будет написано от руки? У меня нет машинки.

Раухе поклонился и надел плащ. Застегивая пуговицы, он сказал:

— Если вам безразлична наука, подумайте о жене.

Когда он распахнул дверь, Семен Евсеевич окликнул:

— Пойдите! Я хочу вам объяснить. Я искренне так считал, — тогда. Но с тех пор я многое понял...

Раухе стоял, придерживая дверь, и вопросительно смотрел на профессора, но тот больше ничего не сказал — он опустил голову и задумался. Тяжелые седые пряди закрывали его лицо.

Раухе пожал плечами и вышел.

В основе этого рассказа лежит исторический факт: три историка-еврея, по запросу германского министерства, дали заключение о происхождении караимов от хазар. Имена этих историков известны — никто из них до тех пор не был приверженцем хазарской теории, скорей, наоборот... Считают, что благодаря этим трем заключениям караимы были объявлены неевреями и уцелели. Все три историка погибли в гетто.



Татьяна ФИЛАНОВСКАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Я непричастна к бытию.
 Не понимаю тех законов,
 Что взламывая жизнь миллионов,
 Разворошили жизнь мою.
 Мне важно, чтоб была река,
 Чтобы деревья к ней склонялись,
 Чтоб, проплывая, отражались
 В воде спокойной облака.
 Не так, чтоб камнем по виску,
 В грехах виниться всенародно,
 А чтоб по мокрому песку
 Идти босой куда угодно,
 Сквозь облака, сквозь явь и сон,
 Туда, где вход был воспрещен,
 Таким, как я...

Кириллу

Чтоб где-нибудь в Колумбии британской
 Потягивать ликерчик итальянский,
 Смотреть в огонь и думать не спеша
 О том, что жизнь чертовски хороша.
 Канадских гор — скалистая гряда,
 Шпиль Петропавловский и невская вода,
 И памяти зеленые холмы, —
 Куда идем? Зачем? Откуда мы?
 Нас будут окружать чужие стены,
 Мы ветром века сдуты, словно пена,
 Чтоб по Садовой, по Арбату, по Неглинной
 Лететь июньским пухом тополиным.

ТОКИО

Островок старины
 В океане железобетона,
 Горький запах курений
 И чистое чудо воды,
 Уходящего времени
 Синий колодец бездонный,
 Пять шагов к пирамидам Хеопса
 И два — до ближайшей звезды.
 Разорвав одиночества
 Шелковый кокон,
 Что с собой через годы
 И страны провез,
 Пестрой бабочкой
 Вылетишь ночью из окон,
 Чтоб впервые прочесть
 Иероглифы звезд.

КИОТО

Киото! Ты киот чужим богам,
 Зеленые холмы твои, как рама,

Мне снится сон: я на ступенях храма
 Буддийского стою, и облака
 Ко мне спускаются.

Киото! Ты окно

И в прошлое и в будущее сразу,
 Где все, что было недоступно глазу,
 Внезапно нам увидеть суждено,
 Как будто по руке гадает кто-то...
 Флоренция Японии — Киото!

Не ходят в будущее почтальоны,
 Зато там строят павильоны,
 Затрачивают миллионы,
 Чтоб будущее отдаленное
 Явилось лакомо и грубо
 В японском городке Цукуба.
 Сегодня дождь, и сколько ни пиши,
 Гармония природы и души
 Недостигается.

А сердце кровоточит

И павильон советский видеть хочет.
 И вот уже знакомые картины:
 Штурм космоса, успехи медицины.
 И вот уже лукавая свобода
 Тебя ведет к матрешкам, к банкам меда.
 Все правильно. Ты на судьбу не сетуй.
 За десять долларов купи себе кассету,
 И вот уже уютно, по-соседски,
 Тебе стихи читает Вознесенский.
 Ну что поэту до торговых сделок!
 Здесь Ленина не убирают с денег,
 Здесь все по-прежнему, как будто время вспять.
 И дым Отечества ты чувствуешь опять.

АПРЕЛЬСКИЙ СНЕГОПАД

Снег идет, как забывают милых...
Точно так вот белым и пушистым
По оврагам и по кочкам мшистым,
По лесам, бульварам и могилам,
Вьюга заметает дни и лица.
Замерзают все ручьи и лужи.
Снег идет?

Нет, это память кружит,
Вяжет шарф. Мелькают быстро спицы,
Памяти озябшие страницы.
Каждая снежинка — единица,
Звездочка восторга и отчаянья,
То, что достается нам нечаянно
В дни любви.

А после белым снегом
Осыпается на землю с неба.
Снег идет, как забывают милых...

А.ЛЕИН

МЕЧТА НАД ГОРОДОМ

ЖУРАВЛИ

Светлане

Уплыли в прошлое года
В пути невозвращения,
Судам всегда нужна вода,
А людям слов свечение.

Мы уходили, кто куда,
Взрослели не по времени,
И обжигала нас вода,
Чтоб стали неевреями.

Хлестнула осень во дворы
И вечер черным вороном,
И покатались мы с горы
На все четыре стороны.

Дожди косматые прошли,
Упали во вчерашнее.
И мы с тобой, как журавли,
В пути на юг спешащие.

Зима уж слышится вдали.
И белый снег забвения.
И мы с тобою — журавли,
Как письма откровения.

Пока надеждами болит
Пришедший день, как рвение,
Мы будем плыть, как журавли
В пути долготерпения.

Бывает: солнце и вода,
И взлеты, и падения,
А мы с тобою, как всегда,
Сплошное удивление.

И мы с тобою журавли
Спешащие, осенние,
Быть может, там вдали-вдали
Ворвемся мы в спасение.

Дожди осенние прошли,
А может, — избавления
От той земли, где журавли
Без слова откровения.

Мы рвем подпруги облаков
И туч седые бороды,
Тяжелый путь, без дураков,
Делили только поровну.

Куда б дорога ни вела,
Пока еще мы молоды:
Глядится нам из-под крыла
Мечта над белым городом.

И ею горизонт залит,
Чем ближе — дальше видится,

И мы с тобою журавли,
К нему хотим приблизиться.

И сердце-компас нам велит
Забуть мосты крушения,
И мы с тобою журавли,
Наш путь на воскрешение.

ГРОЗА

Ветер не дремлет,
Тучи-полки,
Небо на землю
Рванулось в штыки.

Спины деревьев
В листьях-щитах,
Справа и слева
Хлещет вода.

Зеленой броней
Укрылась земля,
Плачет и воеет
Глыба дождя.

И расколосось
Небо на миг,
Конница молний
Обрушилась вниз.

Всхлипы и стоны,
Кругом все бурлит,
Парк, словно воин,
Насмерть стоит.

ДОЧЕРИ

Жанне

Ночь идет по городу,
Лишь не спит вокзал.
Я умру от голода
По твоим глазам.

Мы в разлуке месяцы,
Дни разлук длинны,
Вон звезда повесилась
На спине луны.

Замирает стужею
Осень во дворе,
Лес вдали простуженный
В рыжий цвет одет.

Я смотрю на карточку,
Комната, стена,
Ты кричишь мне: "Папочка!
В чем моя вина?"

Маленькие нежные
Руки мне даешь,
И тоска безбрежная —
Как ты там живешь.

Слушаешь ли бабушку,
Мама как с тобой,
С кем играешь в ладушки
За моей спиной.

Грезишь ли ты сказками,
Иль совсем одна?
Над твоими глазками
Сон и тишина.

А туман, как простыни,
Близится рассвет,
Ночь идет апостолом
Сквозь разлуки лет.

ФОТОГРАФИЯ

Девочка смеется,
А над нею солнце,
Девочка из гетто,
А ее уж нету...

Автоматы замерли,
Автоматы ждут,
Газовые камеры
Жизнями живут.

Тишина забвения
Взрывом рассекись,
И в стихотворении,
Девочка, очнись.

Девочка из гетто,
К жизни возвратись,
Памятью согрета,
Встань, как обелиск.

Солнцем не согрета,
Оживи во мне.
Девочка из гетто,
Фото на стене.

Ночи — бурые медведи
 Заползли в июнь,
 А на звездах месяц едет,
 На волнах — Нептун.

Разливается водою
 На морских лугах
 И зеленой бородою
 Гладит берега.

И расчесывает ветер
 Сосны, тополя.
 На подушках ночи лето,
 Море и земля.

ДВЕ СОБАЧКИ

Эрику

У меня есть две собачки,
 С ними я и там и тут.
 Джек — одна, другая — Мячик,
 Просто Мячиком зовут.
 Джек сидит у шкафа смирно,
 Мячик прыгнул под кровать,
 Беспокойный и задира,
 Я спешу его унять.
 В лифте Джек лизнул соседа,
 Мяч расшаркался хвостом,
 Вместе мы с велосипедом
 На этаж спешим шестой.
 Мама ждет меня на кухне,
 Ой, как вкусно пахнет суп,
 На балконе Джек на муху
 Лает громко, как в лесу.

Мою я лицо и руки,
 Мяч со мною мокрый весь,
 Мячик, Мячик! Будь же другом,
 Дай спокойно мне поесть.

 Слушай, Джек, и Мяч, послушай,
 Вам совсем не надо есть,
 Потому что вы игрушки,
 Быть должны сейчас не здесь.

Медвежонок, где из плюша —
 Там должны вы быть сейчас,
 Только дайте мне покушать,
 Позову я после вас.

 Спать пора уже ложиться,
 Вечер темный за окном,
 Почему-то мне не спится —
 Слышу шорохи кругом.

Сказки разные приходят,
 Те, что папа днем читал,
 Айболит на пароходе,
 С телеграммою шакал,
 С Красной Шапочкой в дремучем
 Повстречался волк в лесу,
 Бармалей детей замучил,
 В сапогах кот бьет лису,

Две лягушки спят на тине,
 Черепаха ищет ключ,
 Деревянный Буратино
 Волшебства ждет из-за туч.
 Гномам маленьким рубахи
 Шьет сапожника жена...
 Тихо. Шорохи и страхи
 Притаились у окна.

Я тогда зову собачек,
 С ними я и там и тут,
 Джек — одна, другая — Мячик,
 Просто Мячиком зовут.

ВОСПОМИНАНИЯ

Дождей нахмуренных уколы,
Еще младенец листопад,
Сентябрь, утро, свежесть, холод
От головы до самых пят.

Белее лебеди на Шпрее,
Заполнен утками причал,
И колокольню, словно шею,
Венок из чаек обвенчал.

Воспоминания, как волны...
А что сегодня берега?
Король обманутый и голый
В туфлях тяжелых на ногах.

ГЕНСЕК В ТИСКАХ

ПРОТИВОРЕЧИЙ

Вокруг беседы М.С. Горбачева с членами СП СССР

Предлагаемый текст беседы М.С.Горбачева с членами СП СССР обсуждался в ноябре 1986 года на открытом семинаре в Русском исследовательском центре Гарварда. До сих пор остается неизвестным, как этот текст попал на Запад. Однако, по мнению советологов, он заслуживает доверия, хотя бы потому, что изложение его по-итальянски было опубликовано в газетах компартии Италии "Унита" и итальянских социалистов "Репаб-лика".

Судя по всему, этот текст не является обратным переводом с итальянского, а представляет собой непосредственную запись беседы М.С.Горбачева, хотя и не дословную, и, может быть, не полную. Итак, приводим запись беседы.

... Каждый день приносит факты — один хлеще другого — о том, как трудно приходится тем, кто берет на себя ответственность и кто идет по линии XXVII съезда партии. Эти люди совершенно не вписываются в существующую систему. И они вызывают сопротивление окружения, сопротивление всех институтов.

Возьмите историю Чаванова (?), о котором я рассказывал на Пленуме. Я ее немного сгладил, рассказал не полностью, но вы представляете — перехватили письмо съезду партии! До чего дошло! Вот драматургам готовая пьеса, готовая драма! Правда, если бы кто-либо написал эту пьесу там, на месте, то получилась бы тоже драма, ибо эту пьесу никто бы не поставил. Но вместе с тем движение началось очень глубокое и серьезное, и предстоит очень глубокая, очень серьезная борьба.

Между народом, который хочет этих изменений, который мечтает об этих изменениях, и руководством есть управленческий слой — аппарат министерств, партийный аппарат, ко-

Печатается без изменений, с сохранением стиля и знаков препинания дошедшего до нас текста.

торый не хочет переделок, не хочет лишения некоторых прав, связанных с привилегиями.

Возьмите Госплан. Для Госплана у нас не существует никаких авторитетов, никаких Генеральных секретарей, никаких Центральных Комитетов. Что хотят, то и делают. И главная ситуация, которая им нравится, это чтобы к каждому к ним в кабинет приходили и просили дать миллион, двадцать тракторов, сорок тысяч — чтоб выпрашивали. Сегодня мне передали, что там во время перекуров создается такое ощущение, что на этот раз не удастся перемолоть, перемолотить новое руководство партией и придется что-то менять.

У нас очень много людей, которые пользуются своим положением. У нас ничто так не эксплуатируется, как должностное положение.

Какие два пункта были положены в основу деятельности Политбюро? Первое — не уклоняться от назревших проблем, которые складывались годами. Вы знаете, однажды Брежнев сказал, что надо провести Пленум по научно-техническим проблемам. Мне показали мешок документов, подготовленных в этой связи, всяких справок и так далее. Когда стали с этим разбираться, то увидели вдруг, что куда это везти, что с этим делать — неизвестно. Ну и забросили. Так все и осталось в мешках. Мы не уклонились от этого. Пусть не все решения, которые мы приняли сегодня, правильные. Пусть мы в чем-то ошибаемся. Но мы хотим действовать и не хотим сидеть сложа руки, чтобы процесс шел мимо нас.

Вот национальная трагедия — пьянство. "Пьяный бюджет". Люди хотят "сухого закона". В то же время из очередей доходят всякие эпитеты: "минеральный секретарь", всякие анекдоты про Горбачева и другое... "Будем пить по-прежнему, откупаем Брежнева". Нет, не сойдем с этого пути. Знаю, что и писатели любят заехать в ЦДЛ и выпить. Знаю, что из очередей доходят письма с угрозами, но мы не поддадимся этим настроениям. Будем спасать народ, особенно славянский народ, потому что это — хоть и перешло на мусульман и на Кавказ, — но так, как страдает славянская часть населения, то есть русская, украинская, белорусская — никто не страдает. Эти циф-

ры страшны, не будем вас пугать, но не будем от этого уходить, будем бороться.

Второе — все начать с партии. Не будет двойной морали в партии. Двойной законности. Это очень тяжело. Все общество пришло в движение, хозяйство расстроено, а мы находимся только в начале, в самом-самом начале пути. Те, кто думает, что мы за месяц-два перестроимся — наивные люди! Это годами складывалось и потребует огромных усилий и титанического труда. Если мы не втянем народ, ничего не получится. Все наши расчеты на то, чтобы повлиять на народ.

Хозяйство очень расстроено. Мы отстаем по всем показателям. В 1969 году была у нас в Ставрополе проблема: куда девать мясо и молоко. И масла — завались. А сегодня ничего нет. Нарушено соотношение между деньгами и товаром, доходами и товаром.

Мы разучились работать. Не просто разучились, а разучились работать в условиях демократии. Это очень сложно.

Немало людей — пьяниц, хапуг, казнокрадов. Но, конечно, в первую очередь, бюрократов. Это люди, которые не хотят расставаться со своими правами. Почему я все время сижу с Ленинскими томами? Просматриваю их, ищу подходы... Потому что советоваться с Лениным никогда не поздно.

ЦК нуждается в поддержке. Вы даже не можете себе представить, насколько мы нуждаемся в поддержке такого отряда, как писатели.

Не думайте, что все это легко происходит. Многие директора пишут нам: не надо нам прав и самостоятельности, пусть все будет по-старому, нам было легче работать, лучше работать. Не хотят, не умеют. Поколения должны пройти, чтобы нам действительно перестроиться. Должны пройти поколения.

Перестройка идет очень трудно. У нас нет оппозиции. Каким же образом мы можем контролировать сами себя? Только через критику и самокритику. Самое главное — через гласность. Не может быть общества без гласности. Мы и здесь учимся. Перестраиваем все: от Генерального секретаря до рядового коммуниста. Демократизм без гласности не существует. Но в то же время, демократия без рамок — это анархия.

Поэтому придется сложно. Как сделать так, чтобы то, что одним кажется "безудержным разливом демократии", когда человек не доволен — а на самом деле, это элементарный процесс.

Проблема требует каждый раз внимательного отношения. Идет перестройка в ЦК, в Совмине. В Совете Министров полностью сменили состав правительства (остался один человек).

Идет перестройка Госплана, других органов, но как все это идет болезненно, если бы вы знали! Некоторые очень болезненно воспринимают все это. Главное, что ЦК выручили, обеспокоенные тем, как идут там дела.

Некоторые товарищи очень болезненно отреагировали на Съезд кинематографистов. "Это, мол, — безудержно, куда их понесло, партизаны..." А что выразил Съезд кинематографистов? Главное — обеспокоенность, отсутствие демократических методов разрешения споров. Руководство поглядывало наверх, съезд прошел демократически. Может быть, и были перехлесты. Но были разрешены главные вопросы, избрано новое руководство. Это правильно. Новое руководство выступает сейчас очень конкретно и правильно. Разобрали фильм "Лермонтов" один раз. Стыдно за критику.

Хотелось бы, чтобы процесс демократизации в творческой среде не свелся бы к сведению счетов. Есть сведения от писателей. Разные взгляды. Мы хотели бы, чтобы шло объединение на принципиальных основах.

Я очень искренне говорил перед вами, без всякого двойного счета. Честно сказал о сложнейших проблемах. Критерий должен быть один: "Жила бы страна родная!" И в этой связи мы хотели задать старый вопрос: "С кем вы, мастера культуры?" С тем новым, что приходит в нашу жизнь или же под этими словами вы не готовы подписаться?

(Марков и Чаковский: "Говорите, говорите!")

Горбачев: Если бы мы начали заниматься прошлым, мы бы всю энергию убили. Мы бы столкнули лбами народ. А нам надо идти вперед. Мы разберемся с прошлым. Все поставили на место. Но сейчас мы всю энергию направили вперед. Наш разговор — сверка позиций. Надо понимать, что все у нас еще

впереди. Мы пока еще ничего не сделали, только начали путь, который кажется правильным, потому что в центре поставили человека. Если мы сумеем поднять человека, активизировать его... я не уверен, что все, что делаем сейчас — все верно; может быть, что-то и отойдет в прошлое, появится новое, но только через это — дать возможность человеку все, что в нем заложено, выявить. Для первого этапа нет другого пути. Это главное. Повороты крутые, надо перестраиваться.

О заседаниях Политбюро. Бывают столкновения, споры. Два-три года откладывали, теперь мы хотим действовать. Общество созрело для поворота. Если мы отступим, общество не согласится на возвращение. Надо сделать процесс необратимым. Не мы — так кто же? Если не сейчас — то когда?

Наш враг нас разгадал. Их не пугает наша ядерная мощь. Они не начнут войну. Их волнует одно: если у нас разовьется демократия, если у нас получится, то мы выиграем. Поэтому они начали кампанию против нашего руководства любыми средствами, вплоть до террора. Они пишут об аппарате, который сломал шею Хрущеву и об аппарате, который сломает шею новому руководству.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Как нам кажется, беседа М.С.Горбачева с членами СП СССР не могла не произвести впечатления на читателей двух итальянских газет, где она была опубликована. И в самом деле, советскому Генсеку, судя по его собственным словам, приходится вести жестокую борьбу за перестройку советского общества. М.С.Горбачев обрушивается с гневными и страстными обвинениями против "управленческого слоя" министерств, против Госплана, против партийного аппарата, против пьяниц, хапуг, казнокрадов... Генеральный секретарь призывает к широкой гласности, к критике и самокритике, ратует за процесс демократизации в творческой среде.

В то же время от приезжающих из СССР мы все чаще слышим: "Лично Горбачев хочет перемен, но встречает жестокое

сопротивление, особенно со стороны партаппарата и советской бюрократии".

Давайте попробуем трезво, без эмоций проанализировать имеющийся в нашем распоряжении текст, а заодно вспомним и другие заявления нового Генерального секретаря.

По-видимому, верно, что Горбачев, в принципе, сознает необходимость перемен. Точнее, стагнация и глубочайший кризис, переживаемые советским обществом, подвели его к этой суровой необходимости. Верно и то, что впервые после его прихода к власти мы ощущаем в его выступлении элементы растерянности и даже некой паники перед косными, возвращенными сталинской системой силами аппарата.

Характерно, что Горбачев вводит при этом понятие некоего "врага", который, оказывается, более всего боится демократии: "Наш враг нас разгадал ..., — заявляет Генсек. — Их волнует одно: если у нас разовьется демократия, если у нас получится, то мы выиграем. Поэтому они начали кампанию против нашего руководства, вплоть до террора. Они пишут об аппарате, который сломал шею Хрущеву и об аппарате, который ломает теперь шею новому руководству".

Что это за мифический враг, который так страшится демократии в СССР? Надо понимать, "империализм". Страны Запада. США. Но вряд ли Горбачеву неизвестно, что они-то как раз с первых дней образования Советского Союза ратуют за его демократизацию. Да и не западные, мы думаем, журналисты "пишут об аппарате, который сломал шею Хрущеву" и который готов теперь сломать шею горбачевскому руководству (а скорее авторы анонимок, идущих в ЦК от брежневских аппаратчиков). Что же касается террора против нового руководства, то слова эти можно расценить лишь как косвенное подтверждение слухов о недавно имевшем место покушении на Горбачева. Не следует ли отсюда, что само понятие "враг" следует толковать расширительно. Да, конечно, главный враг — империализм. Но не выступает ли в качестве его пособника аппарат, с которым развернулась в стране борьба?

Но вот тут-то и встает главный, можно сказать, фундаментальный вопрос: а в чем подлинный смысл этой борьбы?

Сам Горбачев непрестанно говорит о перестройке. Но перестройка во имя чего? В каком направлении? Какова ее главная цель?

Пока что о происходящем в СССР нам известно одно: повсеместно происходит смена кадров — снизу доверху, как в партийном, так в государственном аппарате. Состарившиеся и обречшие страну на многолетний кризис брежневские выдвиженцы вынуждены уступать место сравнительно молодым выдвиженцам Горбачева. Сама по себе такая "кадровая встряска", взбурлившая застойное брежневское болото, объективно не может не сыграть своей роли. Вряд ли, например, стоит сожалеть, что из прошлого, завалившего народное хозяйство Совмина, остался один человек.

Но вернемся снова к вопросу: во имя чего происходит эта перетряска? Сколь бы внимательно мы не вчитывались в речь Горбачева, на этот жизненно важный вопрос мы не находим ответа.

Чтобы лучше понять, о чем речь, вспомним хрущевские реформы. Как и Горбачев, Хрущев также объявил войну аппарату. Но вот что важно: цель этой войны была предельно ясна.

Вспомним ликвидацию Хрущевым центральных министерств и создание совнархозов — реформа, вызвавшая жестокое сопротивление со стороны московских аппаратчиков. Или предпринятое им разделение обкомов партии на промышленные и сельскохозяйственные (что вызвало еще более жестокое сопротивление со стороны периферийных партаппаратчиков).

Хрущева обвиняли в волюнтаризме, реформаторском зуде, пока наконец защищающий свои классовые интересы аппарат не "сломал ему шею".

Однако, какие бы ярлыки не навешивались на Хрущева, сегодня, для каждого очевидно, что вел он борьбу не против аппарата, вообще, а против сталинского аппарата, против сталинского централизма, против сталинских методов руководства.

А что же Горбачев? Какие обвинения он выдвигает брежневским кадрам? И какие, собственно, реформы он осуществляет?

В качестве примера приведем его отношения с Госпланом. В чем конкретно Генеральный секретарь обвиняет Госплан? В том, что он лишает места инициативы? Что насаждает бюрократический централизм? Что не использует в хозяйстве экономические стимулы? Нет, не это вызывает недовольство нового вождя партии — никакой не бюрократизм и не сталинские методы, а скорее, наоборот, стремление самого Госплана к самостоятельности и нежелание партийной опеки. "Для Госплана, — говорит Горбачев, — у нас не существует никаких авторитетов, никаких Генеральных секретарей, никаких Центральных Комитетов. Что хотят, то и делают".

И хотя новый вождь шлет на головы аппаратчиков проклятия, судя по информации из СССР, никаких существенных изменений в советской аппаратной системе не происходит. Одни министерства ликвидируются, другие создаются, но вера Горбачева во всемогущество партии и ее ленинского руководства остается непоколебимой.

По-видимому, он не ощущает, сколь наивной выглядит эта вера и рассказывает присутствующим случай с неким Чавановым, чье письмо съезду партии было перехвачено. "До чего дошло! — восклицает Генеральный секретарь. — Вот драматургам готовая пьеса, готовая драма!" Можно подумать, что предшествующая история партии, история партийных съездов не знала сотен подобных случаев. Впрочем, Генсек и сам признает, что практика расправ и зажима глубоко укоренилась по всей стране, и потому продолжает: "Правда, если бы кто-либо написал эту пьесу там, на месте, то получилась бы тоже драма, ибо эту пьесу никто бы не поставил". И делает из этого совершенно нелогичный, не вытекающий из им же приведенных фактов вывод: "Но вместе с тем, движение началось очень глубокое и серьезное, и предстоит очень глубокая и серьезная борьба".

Про "глубокую и серьезную борьбу", похоже, мы все знаем. К этой борьбе и перестройке Генеральный секретарь призывает едва ли не каждый день. А вот что за мифическое "серьезное движение" началось в стране, так и остается неизвестным".

Но пойдём дальше и послушаем, какие еще проблемы поднимает Михаил Сергеевич Горбачев в беседе с писателями. "Хозяйство очень расстроено, — снова слышим мы его растерянный голос. — Мы отстаем по всем показателям... Нарушено соотношение между деньгами и товаром, доходами и товаром".

Но в чем же видит Генеральный секретарь причины создавшегося положения? И какие собирается сделать выводы? "Мы разучились работать, — продолжает он. — Не просто разучились, а разучились работать в условиях демократии". Опять же было бы очень интересно выяснить, что здесь имеется в виду. О какой демократии речь? Может быть, о создании рабочих советов на предприятиях? Или об оживлении давно омертвевших профсоюзов СССР? Или о введении материальных стимулов на предприятиях вместо голого администрирования и партийной риторики? Ни о чем подобном мы из речи не узнаем.

Единственно, о чем сказано по части демократии, — это о критике и самокритике. И еще о гласности. Но что конкретно? И как сказано? Не можем удержаться, чтобы снова не обратиться к тексту речи: "Перестройка идет очень трудно. У нас нет оппозиции. Каким же образом мы можем контролировать самих себя? Только через критику и самокритику. Самое главное — через гласность. Не может быть общества без гласности. Мы и здесь учимся. Перестраиваем все: от Генерального секретаря до рядового коммуниста. Демократизм без гласности не существует. Но в то же время демократия без рамок — это анархия..."

Кажется, что М.С.Горбачев сам где-то в душе понимает, что для демократии нужна оппозиция, то-есть вторая партия, политический плюрализм. Понимает, но отсутствие плюрализма принимает за должное (де, у нас оппозиции нет и не надо!). Вместо этого давайте развивать критику и самокритику. И еще гласность. И далее идет подлинное откровение: оказывается, и здесь, то-есть в области гласности, а также критики и самокритики "мы только учимся"...

Не было раньше ничего: ни ленинской гласности в соревновании, ни гласности в работе советов, ни критики и самокритики как движущей силы советского общества. Все это.

оказывается, новые явления в советском обществе, опираясь на которые и пойдет семимильными шагами перестройка. И в этом ее суть.

"А демократия без рамок — это анархия!" — предостерегает Генеральный секретарь, явно не желая распространяться на эту тему. И понятно почему. Где демократия утратила рамки и превратилась в анархию? Известно где! В Венгрии — во время восстания в Будапеште. В Чехословакии — во время "Пражской весны". В Польше — когда рабочее движение возглавила "Солидарность". Такую демократию ни партия, ни ее новый руководитель допустить не могут. А если нет, так что же остается. Остается гласность. Остается критика и самокритика...

Как и следовало ожидать, М.С.Горбачев касается и любимой своей темы — борьбы с алкоголизмом. Тема эта вызывает у Генерального секретаря взрыв эмоций: "Вот национальная трагедия — пьянство... "Пьяный бюджет", "люди хотят сухого закона". (Насчет последнего Генсек явно перехватил; тут он, кажется, вообще, имеет в виду не свой, а какой-то другой народ, который и впрямь "мечтает о сухом законе").

Главное, однако, в том, что руководитель партии даже не пытается понять социально-экономических и психологических истоков алкоголизма, получившего столь катастрофические размеры в СССР. Вместо анализа опять же голая патетика, способная вызвать лишь ироническую улыбку: "Будем спасать народ, особенно славянский народ..." — неизвестно кого призывает М.С.Горбачев.

Что ж, алкоголизм — действительно бич современной России. Ну а нищета населения, граничащая в некоторых районах с голодом? А острая нехватка жилья? А преступность? А бескультурье? А кризис морали, поразивший снизу доверху советское общество? — разве от всего этого не надо спасать славянский народ, а заодно с ним и другие народы СССР?

Выступая перед писателями, Генеральный секретарь, естественно, не мог умолчать и о делах творческой интеллигенции. И снова он говорит о демократизации. Но примечательно: здесь, как нигде, М.С.Горбачев проявляет осторожность. Что

ни слово, то оговорка, опаска, предостережение. "Хотелось бы, — говорит он, — чтобы процесс демократизации в творческой среде не свелся к сведению счетов. Есть сведения от писателей. Разные взгляды. Мы хотели бы, чтобы шло объединение на принципиальной основе".

Вряд ли неискушенный читатель на Западе (скажем, читатель газет "Унита" или "Република"), способен понять это загадочное заявление. Кто с кем сводит счета? И в чем различие взглядов? Между кем и кем? И что значит объединение на принципиальной основе? Советский читатель, однако, прекрасно понимает, о чем речь.

Дело в том, что в течение многих лет у руководства писательской организации стояли закоренелые сталинисты и догматики, такие как Чаковский, Марков, Софронов, Грибачев. Это на их, прежде всего, совести процессы Синявского и Даниеля, Гинзбурга и Галанского, изгнание из страны Солженицына, Войновича, Владимирова, Некрасова. Ничего не дав советской литературе, они многие годы давили писательские таланты, жестоко расправляясь с инакомыслящими. И, естественно, сегодня, когда гласность провозглашена Горбачевым главным принципом жизни, те, кто находился под гнетом писательской номенклатуры, решили во весь голос сказать: кто есть кто.

Но как раз против этого и предостерегает новый Генсек. Стремление разобраться в происшедшем он называет "сведением счетов", а глубокий конфликт между настоящими литераторами и писательской номенклатурой — "разными взглядами". Забыть про все и объединиться на принципиальной основе — то-есть, по существу, амнистировать преступления в литературе, — вот к чему призывает руководитель партии, не отдавая себе отчета в том, что призыв этот попросту не совместим ни с какой демократизацией творческой среды.

В связи с этим интересно, у кого из собравшихся речь Генсека вызвала прежде всего отклик. "Мы хотели бы задать старый вопрос, — обращается к залу Горбачев. — С кем вы, мастера культуры? С тем новым, что приходит в нашу жизнь, или под этими словами вы не согласны подписаться?"

В устах Генерального секретаря партии вопрос, конечно, чисто риторический. Но характерно, что двое из слушавших его не выдерживают и в верноподданническом порыве восклицают: "Говорите, говорите!" Эти двое — многолетний секретарь Союза советских писателей Георгий Мокеевич Марков и главный редактор "Литературной Газеты" Александр Борисович Чаковский. Уже тот факт, что никто другой, а именно они спешат прямо здесь, в зале, продемонстрировать единение партии и литературы, говорит сам за себя.

А Горбачев между тем продолжает: "Если бы мы начали заниматься прошлым, мы бы всю энергию убили, мы бы столкнули лбами народ. А нам надо идти вперед..." Сколько раз мы это слышали из уст советских руководителей: не ворошить прошлого и идти вперед! Но куда вперед? Какое будущее предлагает советскому народу новый Генеральный секретарь?

Создается впечатление, что у него самого нет четкого представления об этом будущем. И понятно почему. В рамках существующего строя вряд ли, вообще, возможно изменить что-то в корне. С другой стороны, мы видим, как боязнь замахнуть на основы режима сопутствует каждому шагу Генерального секретаря. Отсюда, даже если признать, что его рвение перестроить советскую жизнь искренне, то, все равно, это не более, чем рвение Дон Кихота, воюющего против мельниц, мельниц режима и особенно партаппарата.

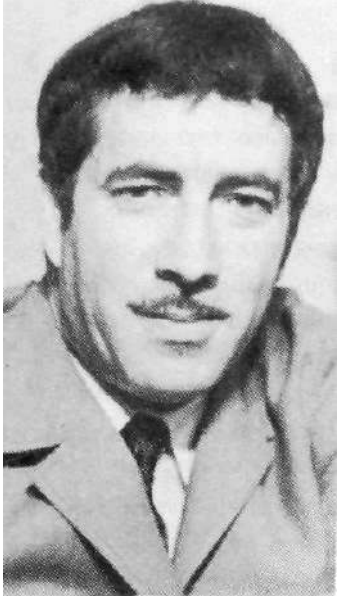
Какими бы ни были его порывы, он обречен биться в тисках неразрешимых противоречий, вытекающих из самой природы советской системы.

Но значит ли это, что происходящее в СССР, вообще, ничего не стоит? И вся деятельность нового Генсека равна нулю? Нет, это значит лишь то, что сегодня в СССР никакая верхушечная, аппаратная революция невозможна. (К сожалению, это плохо понимают западные наблюдатели, связывающие с приходом Горбачева коренные перемены в СССР). И если смотреть правде в глаза, то никакая другая революция также невозможна. А возможны лишь перемены постепенные, невидимые, глубинные, подобные действию подземных вод, подтачивающих основы режима. И тут не столь существенны субъ-

ективные намерения советских руководителей (и в частности нового Генерального секретаря), сколько объективные последствия их политики. Последствия, которые столь часто, вообще, не подвластны советскому режиму.

Пусть на сегодняшний день очевидно, сколь мало значит недавно принятое советским правительством постановление, разрешающее мелкие частные производства (хотя на Западе уже слышались голоса о НЭПе!) Вряд ли можно ждать революции от смешанных советско-западных предприятий, планируемых в СССР (при том, что контроль за их деятельностью сохранится за Советами).

Но трудно предусмотреть, как могут обернуться для режима эти шаги в будущем. Возможно, что никак. Но не будем спешить. И в этом смысле перемены, происходящие в СССР, безусловно заслуживают внимания и, конечно же, изучения. А не просто дифирамбов, которыми встречают каждый шаг нового руководителя многие советологи на Западе.



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

МЫСЛИ О ВОЗВРАЩЕНИИ

Я почти уверен, что читателям вряд ли что-то известно о существовании Общества имени Чернышевского. Откровенно говоря, я и сам узнал о нем совсем недавно. Да и то в самых общих чертах. Похоже, что оно напоминает полутайную масонскую ложу, членов которой объединяет тщательно скрываемая от внешнего мира цель. Чтобы не томить читателя, скажу, что названное Общество объединяет людей, одержимых желанием вернуться в Советский Союз.

По сообщению советского посольства в Вашингтоне, подобное желание изъявила примерно тысяча человек. Сколько из них входит в Общество Чернышевского, неизвестно. И вообще мы вступаем в область, плохо поддающуюся анализу и тем более прогнозу.

Вот вы, читатель, можете хоть приблизительно назвать цифру людей, готовых вернуться в СССР? Я лично не могу, потому что эта цифра зависит от множества обстоятельств. Однако при более или менее благоприятном их стечении тысяча жела-

ющих вернуться может стать только первым звеном. Появятся еще и тылы, которые, по понятным соображениям, предпочитают пока помалкивать.

В силу позиции, занимаемой советским правительством, сама идея возвращения до последнего времени казалась бредом (да и сегодня на таких показывают пальцем). Заявления ходяков в советское посольство годами оставались без последствий. Посольство либо хранило ледяное молчание, либо отделялось пустыми обещаниями. Де, правительство СССР ценит ваше патриотическое чувство и раскаяние, но пока что, товарищи, время не пришло. Говорят, что от одного обращения "товарищи", у некоторых ходяков навертывались на глаза слезы. Но дело тянулось, и даже у самых непреклонных надежда таяла. Надо ли удивляться, что разрешение вернуться, полученное первыми семнадцатью просителями, даже для них самих явилось неожиданностью.

Помните, как человек годами сидел в отказе. И вдруг его вызывали в ОВИР и, вручив визу, предлагали в неделю-две собрать манатки и покинуть СССР. Но то была эмиграция, а это совсем другое. Про эмиграцию мы знаем многое, а про возвращение — ничего, хотя вопрос этот далеко не нов.

В эмигрантской печати на этот счет даже сложились определенные стереотипы, которые, почти не меняясь, переключаются из одного издания в другое. Вспомним, для примера, статью Я.Костина "Возвращение Большого брата", опубликованную около двух лет назад в "Новом Русском Слове". В статье шла речь о возвращении в СССР сталинизма и о планируемой органами КГБ операции "Обратная волна", цель которой состояла в том, чтобы заманить в СССР группу вчерашних эмигрантов. Как писал автор, весной 1985 года, в день сорокалетия победы над фашистской Германией, советские власти намеревались провести грандиозную политико-пропагандистскую феерию, в которой должны были участвовать "достоинные доверия" свидетели с Запада. Естественно, ведущая роль в этой феерии отводилась Светлане Аллилуевой.

Оспаривая точку зрения Костина, я выступил в 81-м номере журнала с полемическим эссе "Советский режим и эми-

грантские прогнозы", в которой высказал мысль о том, что СССР — хотят этого или не хотят советские власти — становится все более открытой страной. И рано или поздно будут открыты ворота не только для эмиграции, но и вообще для более свободного передвижения его граждан.

Я вспоминаю это не для того, чтобы приписать себе некую способность предвидения, вовсе нет! Просто речь идет о недопустимом упрощенстве в подходе к такой многоаспектной проблеме, как реэмиграция.

Есть вообще у нашей эмигрантской печати одна очаровательная особенность — навязывать читателю свои примитивно-догматические представления о жизни, и в первую очередь, о жизни в СССР. Изменения? Нововведения? Никаких нововведений там не может быть? Почему? Потому что этого не может быть никогда на свете!

Вернемся, однако, еще раз к проблеме эмиграции. Но рассмотрим ее не под одним лишь привычным социологическим углом зрения (такое-то количество эмигрантов выехало, такое-то еще борется за выезд, такое-то интегрировалось в Израиле, такое-то в США и так далее), — так вот, рассмотрим проблему с разных точек зрения, отказавшись от привычных клише и аксиом.

Откройте любую или почти любую статью на эмигрантскую тему. Их авторы, как правило, исходят из одного и того же, а именно, что эмиграция из СССР — всегда, или почти всегда благо, ибо уезжая из Советского Союза, человек избавляется от тоталитарного пресса и нищеты и получает счастливую возможность начать жизнь в условиях свободы, демократии и материальной обеспеченности. А если он проявляет неспособность прижиться на Западе, в тех же, скажем, Соединенных Штатах, то это вызывает к нему лишь презрительное отношение (много ли он, вообще стоит, если даже в Америке не может себя найти). Поэтому стремление вернуться рассматривается, в лучшем случае, как трагическая ошибка, в худшем — как безумие. И поскольку в здравом уме человек на это не пойдет, то и выползают на свет Божий всякие подозрения о его сговоре с КГБ, о том, что он был заслан с самого начала и т.д. и т.п.

И тут я снова вынужден задаться вопросом: что же такое эмиграция?

Применительно к СССР, можно сказать, что это бегство из мира тотального рабства в мир тотальной свободы, возможность начать новую жизнь в условиях демократии и неограниченных возможностей. Все верно. Но поскольку мы договорились рассмотреть это явление с разных сторон, то на заданный вопрос можно ответить и так: "Эмиграция — это добровольное самоизгнание с Родины, это экстремальное состояние, когда человек лишается всего, из чего складывается его нормальная жизнь: он должен как бы заново родиться, с него как бы заживо сдирают кожу".

Не случайно, согласно первому Уголовному Кодексу РСФСР, изгнание из страны приравнивалось к смертной казни.

Статья эта не была изобретением большевиков, а перекочевала, если мне не изменяет память, из законодательства древнего Рима. Впрочем, Сталин, применив ее в отношении Троцкого, впоследствии к ней не обращался, предпочитая расстрелы "врагов народа" изгнанию. (Зато наследники Сталина, начиная с Брежнева, ее снова успешно применяют). Итак, не будет преувеличением сказать, что эмиграция, в определенном смысле, равносильна самоуничтожению личности.

Я бы не хотел, чтобы эти два полярных определения — "свобода" и "самоуничтожение" выглядели как некая игра ума. Думаю, что речь идет о вещах совершенно практических, проигранных в разных вариантах, по крайней мере, трижды на протяжении послеоктябрьской русской истории.

Да, речь идет о трех эмиграциях. И мне кажется небезынтересным обратиться к побудительным мотивам каждой, попробовать разобраться в их психологических механизмах.

Что побуждало граждан России бежать за границу после революции? Кажется, ответ ясен: бежали те, кто не хотел сотрудничать с большевиками. По этой причине, как известно, эмигрировали такие выдающиеся деятели русской культуры, как Бунин, Ходасевич, Ремезов, Шестов, Алданов — да по существу, вся лучшая часть русской интеллигенции. Но все они —

лишь малая доля России, откатившейся на Запад, лишь ничтожный процент первой эмиграции.

Андрей Седых, эмигрировавший вскоре после гражданской войны, рассказывал мне, что в своем большинстве первая эмиграция состояла из простых людей: солдат, ремесленников, крупных и мелких торговцев, городских мещан, которые бежали от физического уничтожения. На Западе они мучались, нищенствовали, влачили жалкое существование, но в страхе быть расстрелянными в подвалах ЧК, не возвращались на Родину. Судьба единиц, которые рискнули вернуться, лишь подтверждала их страх.

Мотивы второй эмиграции еще более очевидны: это были люди, разными путями оказавшиеся на немецкой стороне и по одной этой причине подлежащие заключению в сталинские лагеря, откуда редко кто выходил живым.

Итак, страх перед режимом был главным мотивом первых двух эмиграций. Оказавшись перед жестким выбором — бежать или погибнуть, — люди предпочитали эмигрировать.

Я не случайно говорю о мотивах эмиграции. Психологи давно уже заметили, что чем глубже она мотивирована, тем более успешна, если, конечно, употребимо здесь это простое и однозначное понятие. Так вот, продолжая тему, я прихожу к выводу, что наиболее трудно выявить мотивы нашей эмиграции; не горстки диссидентов и преследуемых деятелей культуры, а "рядового" большинства, например, обитателей Брайтон-Бича, Кони-Айленда, Бронкса... Советское двоемыслие, с которым незаметно для самих себя мы срослись, оборачивалось массовым самообманом, а заодно и обманом общественного мнения. Громогласно, на весь мир мы заявили, что не хотим жить в условиях советского рабства, что дороже жизни для нас свобода и демократия. Мы объявили себя политическими беженцами и, получив множество привилегий, вытекающих из этого статуса, опять же незаметно для себя, стали проявлять поразительное безразличие к обретенной демократии.

Примеров этому более чем достаточно. И один из них, решившись прервать плавность повествования, я приведу.

Так вот, накануне выборов в американский сенат у меня

состоялся короткий, но очень выразительный диалог с давним знакомым — еще по той, старой жизни. Там он причислял себя к людям диссидентски настроенным и готов был отдать жизнь, чтобы вдохнуть "воздух свободы". Он собирался ехать в Израиль и мечтательно заявлял, что попросится в кибуц и почитет за счастье вкалывать где-нибудь в пустыне Негева, на исторической Родине. Как, наверное, догадался читатель, в Израиль он не поехал и, следовательно, в пустыне Негева не оказался, а, как и многие "романтики Израиля", открыл бизнес в Бруклине. Встретив его случайно накануне выборов я ненароком спросил, за кого он намерен голосовать — за республиканца или демократа. В ответ он иронически улыбнулся и ответил: "Что мне делать нечего? Я и там никогда не ходил на это голосование, а здесь и подавно перебежусь!" И таким родным повеяло на меня от этих слов, что я едва не расхохотался.

Но что же все-таки побуждало уезжать? На этот многократно задаваемый социологами вопрос, отнюдь не всегда следовали искренние ответы (когда бы человек был искренен даже с самим собой). Да, говорили и мечтали о свободе, но у многих были и свои сугубо личные мотивы, о которых не хотели распространяться. Кто-то мечтал втайне заработать миллион, кто-то просто пожить красивой жизнью, кто-то — из числа наших российских мечтательниц — подцепить мужа-миллионера, а кто-то покорить Голливуд; кто-то "рванул" в Америку, разругавшись с начальством, а кого-то вытолкнул ОБХСС... Сколько их было таких сугубо личных причин, без понимания которых не понять психологии эмиграции и, прежде всего, психологии тех, кто и сегодня вам толком не объяснит, зачем он оказался в Америке.

Но вот как раз эти-то — сколько б ни хвалили они новую родину — труднее всего к ней адаптируются. Всего как будто достигли, всех атрибутов "красивой жизни": две машины и прекрасный дом с бассейном, и "инком" вполне приличный, а все равно чего-то не хватает. И хоть пишу я не о всех, а лишь о некоторых, но сколько этих "некоторых", которые, несмотря ни на что, не устают тосковать о прежней жизни. Вы и сами, возможно, видели эту картину: после шумного застолья и подпития, после тостов и всеобщей похвальбы друг перед

другом вдруг наступает какая-то вялость и тоска, и какие-то странные возникают разговоры — какая у кого там была квартира и кого как уважало начальство, и кто куда ездил в отпуск (кто в Сочи, кто в Кисловодск, кто в Ялту!), и как там культурно проводили время, и как все, что хотели, доставали... Какой уж тут тоталитарный режим? Кому он мешал?

Назовите это, как хотите: ностальгия, неспособность к свободе или как-то еще... Но давайте без ханжества — ведь эти же люди среди нас, и никакие там не засланные, не просоветские, а, напротив, — самые что ни на есть патриоты Америки и вроде бы прекрасно вписавшиеся в Америку, но при всем этом страдающие и неспособные ее принять.

Тут почти невозможны объективные оценки, и лично я думаю, что на вопрос, все ли себя чувствуют здесь счастливыми, существует единственно честный ответ: "Кто как!" Какое количество несчастливых или не очень счастливых, установить невозможно. В абсолютных оценках все живут лучше, чем в СССР. Сравните: питание — здесь и там, квартиры — здесь и там, да что угодно, — все будет здесь лучше!

Не потому ли даже сами разговоры о возвращении выглядят как-то неприлично, сама тема какая-то щекотливая и желающих ее поддерживать встретить трудно.

И не потому ли, чем больше я на эту тему размышляю, тем больше убеждаюсь, что нет у меня четкого ответа на вопрос: как и почему возникают мысли об отъезде. Разве есть лишь ощущение (которым я и попытаюсь поделиться с читателем), что все проистекает оттуда же, от немотивированности эмиграции. Сколько бы тостов ни поднимал человек за новую родину, если он не знает, зачем он здесь, не будем удивляться, если окажется он во власти мыслей о возвращении.

Впрочем, какое возвращение? Не бессодержательная ли это абстракция, лишённая реальной основы? Откроет ли, вообще, СССР ворота для таких людей? Мы не имеем никакой информации относительно подлинных намерений советских властей. Думаю, что нет по этому поводу единства и в советских верхах. Как нет там единства относительно самой внешней и внутренней политики. И потому попробую

ришь выдвинуть некоторые гипотезы, основанные на моем субъективном понимании природы горбачевского режима.

Так вот, сдается мне, что, впусив первую группу эмигрантов, власти действительно намеревались провести пропагандистскую акцию — показать миру, что Советский Союз становится все более демократичной и открытой страной.

Вспомним историю с семьей Фаины Гонты, умудрившейся за каких-то пару недель дважды пересечь советскую границу (вначале на правах возвращенцев в СССР и тотчас назад, в Со-единенные Штаты, не знаю уж на правах кого). Помните, как, приземлившись в аэропорту Кеннеди, Фаина Гонта стала вдруг популярна, как звезда Голливуда. Телевизионные спикеры и журналисты захлеб говорили о том, как много значит для человека воздух свободы (де, на примере Гонты видно, что возврат в тюрьму просто невозможен!)

С моей точки зрения, своим двойным "сальто мортале" Гонта не столько доказала преданность идеалам свободы, сколько помогла Советам осуществить блестящую пропагандистскую акцию. Вспомните, как молниеносно она была отпущена назад. "Ну, разве это не доказательство реальных перемен, происшедших в СССР?" — услышим мы вскоре от представителей СССР. "Разве это не доказательство того, что отныне СССР — открытая страна: хотите — возвращайтесь, хотите — эмигрируйте. Никакого железного занавеса, никаких закрытых границ", — вот ведь какие пассажи может теперь пустить в ход советская пропаганда в ответ на требование свободной эмиграции!

Но значит ли, что все так и кончится пропагандой, — одним-двумя жестами, после которых будет поставлена точка. Тут мы снова подходим к тому, о чем я уже не раз писал: идя на тот или иной демократический (пусть и пропагандистский) шаг, считая себя хозяевами положения, власти СССР слишком часто не видят и не могут предвидеть хода событий

Эмиграция, начавшаяся с "выброса" горстки "сионистов", вылилась в мощное и неуправляемое движение сотен тысяч. Сегодня желание эмигрировать уже никого в СССР не шоки-

Рует — эмиграция превратилась в обыденное явление советской жизни.

Не может ли нечто подобное произойти и с возвращенцами. В условиях острейшего валютного кризиса и чисто прагматического подхода горбачевского режима к вопросам внутренней и внешней политики я вполне допускаю, что в определенной ситуации он пойдет на то, чтобы открыть ворота для возвращения эмигрантов. Издали же указ о разрешении частной инициативы, пусть половинчатый и куцый, но издали же, не побоявшись прийти в противоречие с коммунистической догмой.

Издадут и другой, и третий, и среди них вполне возможен указ о праве вчерашних советских граждан вернуться в СССР. (А в секретных инструкциях пойдут разъяснения, что указанные граждане обязаны внести не менее десяти тысяч долларов на кооперативную квартиру, и чтобы они были не старше шестидесяти лет, и что преимущества будут даваться людям технических профессий, и что возвращаться должны только в те места, откуда эмигрировали.) Словом, реэмиграция будет пущена в знакомое нам советское бюрократическое русло, со всевозможными рогатками, препонами. Но все же, думаю, что всякий кто захочет их одолеть, сможет это сделать. И центр тяжести проблемы снова перенесется на все тот же старый, как мир, еврейский вопрос: ехать — не ехать?

Ах, сколько тут сыщется советчиков, доброхотов и заклинателей! И сколько полетит камней вослед перешедшим этот тяжкий рубикон. Лично я — против камней и эмоций, а хочу лишь высказать некоторые соображения, что значит этот шаг — вернуться в СССР.

Существует, как ни странно, некая общность между отъездом в Америку и возвратом в СССР. Если вдуматься, это нам только казалось, что мы едем в Америку — на самом деле мы у е з ж а л и из России — в неведомое далеко. Те, кто ехал именно в Америку, сегодня не помышляют о возвращении. Ну а что же такое возврат? Как ни странно, это опять же иллюзия. Это лишь кажущееся возвращение на Родину. На самом деле, возвращаясь, эмигранты едут в ставшую им чужой, неведомую страну, и в этом я вижу главную опасность, а не в

том что кого-то прихватят гебисты и, верные своим сталинским нравам, сошлют в какую-нибудь тьму-таракань.

Язык будет тот же, та же земля, те же города и веси, но это будет не та страна, что мы покинули десять-двенадцать лет назад. Люди не те, нравы не те, даже со старыми товарищами не найти нам общего языка. Да и речь, если прислушаться, окажется не та, на которой мы некогда говорили.

Думаю я, нечто подобное пережила Марина Цветаева, не вынесшая тоски по Родине и вернувшаяся в СССР в сорок первом году. Накинув в полудикой голодной Елабуге на шею петлю, Цветаева вынесла тем самым приговор своему шагу. Родина-чужбина — вот куда вернулась великая русская поэтесса.

Есть и еще одно будоражащее душу обстоятельство и приводящее к трагическому самообману. В России, которую мы покинули много лет назад, прошла наша молодость, и в силу структуры человеческого сознания мы не способны отделить эти лучшие в жизни годы от страны, в которой они протекали. Пусть режим был ужасен, сажали, топтали наши души, но ничто не могло одолеть силу молодости. Вот и происходит аберрация памяти — мы вспоминаем молодость, а думаем, что вспоминаем Россию. И сами того не замечая, надеемся, что необратимое время можно повернуть вспять.

Возможно, веет от этих мыслей холодом и рассудочностью. А кому-то так хочется снова оказаться в России, в родной обстановке, среди близких и друзей. Но я намеренно апеллирую к разуму, ибо знаю, как иногда трудно, невыносимо трудно следовать избранной судьбе, но это все-таки легче, чем оказаться на Родине-чужбине.



Борис СЕГАЛ

СИНДРОМ ХАМА, ИЛИ КОНЕЦ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Древняя мифология полна историй о сотворении и конце мира. Наука обогатила этот список теориями, основанными на данных астрономии и физики. Физик Ричард Мюллер и его коллеги из Калифорнийского университета недавно предположили, что каждые 25-30 миллионов лет одна из звезд ("звезда смерти") приближается к солнечной системе так близко, что некоторые из сопровождающих ее комет разрушают на земле все или почти все живое.

В предлагаемых читателю заметках речь пойдет о более "узкой" проблеме: гибели человеческих цивилизаций, конкретно — о закате и смерти нашей цивилизации.

Мы постоянно слышим о возможной ядерной катастрофе, которая может прекратить существование человеческого общества. Такая катастрофа вполне вероятна. Но единственный ли это возможный трагический исход нашей истории?

Я попытаюсь показать, что существует также и другой, может быть, не столь драматический и внезапный, но, к сожалению,

нию, реальный вариант гибели современной цивилизации — как естественный результат ее внутреннего распада.

Сама концепция о конце культуры, или как сказали бы люди религиозные, о конце мира, не является чем-то новым. Ее можно найти и в шумерийских, и вавилонских сказаниях, и, конечно, в Библии. Согласно последней, когда придут апокалиптические времена, то им будут предшествовать определенные "знаки": будут возрастать грехи человеческие, вера в Бога исчезнет, мораль и основы семьи будут разрушены, разврат и преступления воцарятся на земле. Как говорит Евангелие от Матфея, "Когда же придет Сын Человеческий... и разделит одних от других... И пойдут (грешники) в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" (Матфей, 25:31 — 46).

Для теологии, таким образом, вопрос о конце мира вполне ясен. Согласно Бердяеву, "небесная история и небесная судьба человека предопределяют земную судьбу и земную историю человека".

Однако в этих заметках речь пойдет не о теологической, а о научной концепции конца нашей цивилизации. Наверное, лучше всего она была сформулирована двумя историками: немцем Освальдом Шпенглером и английским историком Тойнби. Оба они, независимо друг от друга, написали книги, в которых излагали идею о том, что всякая цивилизация переживает определенные стадии: рождается, созревает, стареет и умирает. Теперь приближается время, когда нашей цивилизации предстоит сойти со сцены истории.

Шпенглер, например, считает, что каждая культура живет лишь тысячу лет, после чего ее ждет неминуемая смерть. Согласно ему, конец современной цивилизации должен наступить в 2000 году.

Тойнби и Шпенглер были не единственными, кто увидел на стене истории трагические, зловещие слова: "Мене, текел, фарес", предвещающие гибель мира. Выражаясь теологическим языком, наша цивилизация, как и предшествующие, была взвешена Богом, признана легковесной и обречена на разрушение.

Но, может быть, эта картина необоснованно мрачна и песси-

мистична? Вспомним о невероятном прогрессе науки, техники и медицины, о неуклонном росте жизненного уровня в большинстве развитых стран. И не слишком ли долго продолжается многократно предсказанный закат нашей культуры? Да и вообще происходит ли он?

"И никаких там ваших мудреных зловещих предсказаний я не заметил", — воскликнет читатель, — а вижу на стенах лишь сплошные рекламы (на Западе) и столь же нескончаемые лозунги и плакаты (на Востоке), да еще ругательства, нацарапанные на стенах туалетов в странах зрелого социализма. Может быть, проницательный читатель прав, и пророчества эти — лишь игра ума оторванных от жизни кабинетных чудаков? И, возможно, наша цивилизация не только не стареет, а, напротив, становится все более зрелой и, объединив усилия многих народов и культур, будет процветать и здравствовать в веках?

Не стану пересказывать доводы Шпенглера, Тойнби и других "пессимистов", а приведу лишь собственные соображения и доказательства, подтверждающие цикличность развития культур. Я попытаюсь показать, что начало конца знаменуется не экономическим обнищанием, не утратой технических знаний и военно-политической мощи. Напротив, эти знания и мощь могут продолжать расти по инерции довольно долгое время.

Немецкий историк культуры Боркенау писал, что старая цивилизация может постепенно перерасти в новую, как это случилось с Византией, выросшей из классической греко-римской цивилизации. Старая культура может и погибнуть под натиском варваров. Так произошло на Западе, в Риме.

О гибели Рима еще пойдет речь. Мы будем наблюдать, как в его крушении "предвосхитились" многие черты гибели современной культуры. А пока лишь заметим, что и Боркенау соглашался со Шпенглером в том, что солнце нашей цивилизации закатилось. Мне остается лишь присоединиться к ним и подкрепить эту точку зрения имеющимися в моем распоряжении доказательствами.

2. ГИБЕЛЬ РИМА И ПАРАЛЛЕЛИ ИСТОРИИ

Все знают о расцвете, закате и гибели Римской империи и греко-латинской цивилизации — процесс, продолжавшийся весьма долго и предсказанный библейскими пророками, которые возвестили предстоящее "падение Вавилона". Вспомним вкратце, как погибла римская цивилизация.

К началу новой эры народы, населяющие земли вокруг Средиземного моря, были объединены политически, административно и экономически в рамках рама гомана. Греко-римская культура развила основы математики, геометрии и астрономии, заложенные еще египетскими и вавилонскими учеными. Философия, литература, скульптура, архитектура и театр процветали в греческих и римских метрополиях и колониях. Было создано римское право, явившееся основой современной юриспруденции. Римские легионы охраняли порядок и власть императоров на огромной территории, управляемой римскими администраторами. Римляне воздвигли большие города, создали огромный по тем временам флот и построили целую сеть великолепных дорог, мостов, виадуков. Однако, как мы знаем, к началу пятого века нашей эры западная Римская империя пала под ударами завоевателей. Восточная Римская империя (Византия) просуществовала еще несколько столетий и погибла в пятнадцатом веке. Гибель греко-римской цивилизации ознаменовала конец великой культуры и наступление мрачной эпохи средневековья.

Кто же сокрушил Римского гиганта? Существует мнение, что Римская империя была разрушена ордами варваров. Это верно лишь отчасти. Процесс упадка Рима был медленным и был вызван целым рядом факторов. Варварские племена приложили к его гибели руку, но следует помнить, что на протяжении веков Риму удавалось сдерживать их нашествие, натравливать друг на друга и, "переваривая" их в котле римской культуры, даже использовать на службе в своей армии. Окончательный удар западной Римской империи нанесли не они, а вдохновленные Кораном арабские завоеватели, которые разрушили самые основы римской цивилизации. Восточная Рим-

екая империя также была захвачена мусульманами (османскими турками).

Но еще до военного поражения силы римского государства были подточены изнутри, и симптомы упадка стали заметны уже тогда, когда его военное могущество было непоколебимо, а политическое и культурное влияние бесспорно.

Что же представляют собой эти симптомы?

В процессе эволюции римское общество становилось все более индифферентным к старым духовным ценностям. Вера в римских богов стала ослабевать. Одновременно распространились восточные культы (персидский, еврейский, сирийский)

Как пишет Гиббон в своей "Истории упадка и падения Римской империи" (1963), в позднем Риме существовали различные виды верований. Они рассматривались простыми людьми как истинные, философами — как в равной мере, ложными, и правителями — как в равной мере, полезными.

Римские государственные деятели соблюдали религиозные обряды (которые в душе презирали), для того, чтобы управлять массами.

Люди стали увлекаться магией, оккультизмом, астрологией.

Разумеется, либерализация Рима, его терпимость к чужим религиям и культурам были шагом вперед. Однако это было тесно связано с другим скрытым и опасным процессом — потерей чувства преемственности и "тождественности". Римское общество, в частности, его элита утратила связь с традициями предков. Римляне не считали более свою религию и государство самыми лучшими и справедливыми. Перестав отождествлять себя с Римом, они стали все лучше понимать своих врагов и все критичнее относиться к собственному обществу. Они больше не хотели воевать за Рим и охотно предоставляли наемникам право службы в армии, прежде являвшейся священной обязанностью каждого римского юноши. (Армию в большинстве своем составляли германцы; римляне предпочитали скрываться от призыва в отдаленных районах и даже наносили себе самоповреждения, симулируя болезни).

Слова "отечество", "долг", "великая империя" стали вы-

зывать ироническую улыбку. Римские патриции должны были склоняться перед вождями варваров, устраивая в их честь пышные приемы и стараясь любой ценой умиротворить их. Политика цезарей стала нерешительной и непоследовательной.

Римское общество все более погружалось в коррупцию, политические интриги и, как бы мы сказали сегодня, в блат. Ценность человека измерялась его состоянием. Понятия ответственности и долга превращались в анахронизм. Совесть заменяли судебные стяжательства и жалобы. Орда плутов-адвокатов вела бесконечные процессы, подкупая судей и чиновников. Верить кому-либо на слово было уже нельзя. Никто не хотел ничего давать обществу, все хотели только получать от него.

Правда, в области гражданских прав наблюдался прогресс. Женщины и дети становились более независимы. Римские философы-стоики проповедовали братство людей и отстаивали естественные права человека и гражданина. Положение рабов улучшилось — они были защищены от произвола рабовладельцев. Большое число рабов получали свободу. Некоторые из них и их потомков приобретали политическое и финансовое влияние.

В новом космополитическом Риме все большую роль играли иностранцы. В конце первого века нашей эры 80 процентов римских сенаторов были римляне, а в конце второго века они насчитывали лишь 40 процентов. Даже некоторые из последних императоров были иностранцами и выходцами из низших слоев общества.

С другой стороны, процессам либерализации сопутствовало ослабление устоев старой патриархальной семьи и падение авторитета главы семьи. Внебрачные связи между римскими гражданами, которые были немыслимы в старом республиканском Риме, стали обычным явлением.

Рим охватила безудержная жажда наслаждений, так называемый гедонизм. Пресыщенность, сексуальная распущенность и утрата моральных принципов способствовали росту половых извращений и садистических развлечений. Пьяные оргии становились главным удовольствием. Широкое распространение получили порнография и проституция.

Вот как известный историк Моммзен описывал изменение римской семьи и связанное с этим падение нравов: "Распутство в самых разнообразных формах стало настолько распространенным и всеобъемлющим, что появились наставники, которые зарабатывали себе на жизнь тем, что служили инструкторами, обучающими молодежь теории и практике разврата. При этих обстоятельствах мораль и семейные усто-

стали третироваться как нечто старомодное. Быть бедным стало не только позорным и даже преступным, но фактически это стало единственным позором в обществе. За деньги политические деятели предавали свою страну, и граждане продавали свою свободу. За деньги можно было купить должность или голоса избирателей. Люди забыли, что такое честность, а человек, отказавшийся от взятки, считался придурком”.

Римский историк Светоний отмечает, что в эту эпоху многие замужние римские дамы стали отказываться от почетного звания матрон (ибо им не разрешалось вести легкомысленную жизнь), и добивались статуса проституток, которые, согласно закону, могли позволить себе безнаказанно вступать в любые сексуальные связи.

Семейные устои распались. Число разводов резко возросло. Контроль рождаемости привел к тому, что римское население стало сокращаться, в то время как число эмигрантов и потомков бывших рабов непрерывно увеличивалось. Многие из них паразитировали за счет государства.

В результате эмансипации молодежь утратила уважение к старшим, к традициям и к религии. (Плутарх, например, описывает, как римские юноши изуродовали изображения богов).

Правда, росло образование низших классов, но обычаи элиты становились все более грубыми. Нравы общества, в целом, приобрели отпечаток вульгарности, и кровавые бои гладиаторов поддерживали этот дух. Играло свою роль и то, что последние римские императоры были людьми из народа, плебейского происхождения, часто полуграмотными.

В то время как аристократия вырождалась и теряла силу, угнетенные в прошлом социальные группы и этнические меньшинства требовали своего куска общественного пирога. Их притязания росли, и все труднее становилось улаживать их “хлебом и зрелищами”.

Наблюдался и еще один зловещий признак упадка: появление огромного и малоэффективного бюрократического аппарата, центрального и местного. Армия чиновников работала из рук вон плохо и была подвержена взяточничеству.

Мошенники-откупщики и поставщики, снабжавшие армию, наживали огромные деньги. Крестьяне разорялись и переселялись в Рим, пополняя ряды городского пролетариата, кото-

рый получал подачки от правительства, опасавшегося его возмущения и бунта.

Обнищание крестьянства, на которое опиралась экономика Рима, подрывало государство. Качество товаров ухудшалось, хотя их количество непрерывно росло.

Эти явления достигли своего апогея в самый поздний период империи. В третьем и четвертых веках нашей эры разорившиеся крестьяне бежали массами в города, поступали в армию и монастыри. Христианские монастыри и церкви приобретали все большее влияние — особенно среди бедных — в то время как светская власть слабела. Языческие капища были запрещены; в пятом веке нашей эры язычникам запрещено было поступать на гражданскую службу и служить в армии. В шестом веке император Юстиниан закрыл знаменитую академию Платона и приказал всем язычникам креститься под страхом суровых наказаний. Христине превратились из защитников угнетенных и жертв гонений в фанатических преследователей.

Между различными военно-политическими группировками шла непрерывная борьба за власть, перераставшая в анархию. Центральное правительство теряло престиж и авторитет и с императорами почти перестали считаться. Сенат пребывал в постоянном конфликте с армией. Последняя, состоявшая из наемников-варваров, бунтовала и не желала выполнять приказы.

Элементы классической культуры — философия, история, право, медицина, искусство — не исчезли в последние столетия существования Рима (они были подавлены позднее, когда варвары с их более примитивной культурой стали властителями Европы). В позднем Риме не прекратилось развитие техники и астрономии. Однако культурный и технический прогресс продолжался скорее по инерции. Это было количественное накопление знаний без новых творческих идей. Латинская культура в позднем Риме становилась эклектической и декадентской. Она включала в себя разнородные элементы, но почти не рождала оригинальных философов, драматургов и скульп-

торов. Хотя классические греческие и латинские источники почитались и цитировались, все меньшее число людей понимало их. Эллинский идеал разума, красоты и гармонии утратил свое влияние и стал считаться старомодным.

Классические комедии Плавта и Теренция, трагедии Сенеки сменялись развлекательными и безвкусными зрелищами.

Приобрели популярность экзотическое (азиатское и африканское) искусство и музыка. В литературе появились вещи, подобные известному творению Апулея, пытавшемуся описать сексуальные отношения между патрицианкой и ослом.

В третьем-четвертом веке нашей эры стала хиреть и римская экономика. Города пустели, в то время как число жителей городских гетто (где процветали преступность и беззаконие) продолжало расти. Хаос воцарился во многих провинциях. Сепаратизм разрывал прежде сплоченную империю. Ее воля к власти была утрачена. Ее военный потенциал был подорван, и она стала в конце концов добычей полчищ врагов (вначале на западе и потом и на востоке).

Этот процесс, как я уже говорил, протекал медленно, сменяясь безуспешными попытками оздоровить общество, проходящими победами над армиями варваров и периодами временной стабилизации, предшествующими окончательной гибели римской цивилизации.

3. ОБЩЕСТВО, ЗАБЫВШЕЕ БОГА

Если взглянуть на то, что происходит сейчас, то, как и в позднем Риме, можно даже невооруженным взглядом увидеть симптомы тяжелого заболевания общества. Падение морали — вероятно, важнейший из них. Я буду говорить о кризисе нашей цивилизации и уверен, что от внимания читателя не уйдут поразительные параллели с тем, что происходило в Римской империи.

Вначале несколько общих мазков. Мы видим, как в современном мире рушатся семейные связи. Происходит падение авторитетов. Повсеместно растут преступность и терроризм. Почти всюду наблюдается деградация искусства, и получает

все большее распространение "искусство безобразия" — антиискусство, наблюдаемое и в живописи, и в музыке, и в литературе, и в театре. Гиганты, которые вознесли нашу цивилизацию, безвозвратно ушли со сцены.

Если обратившись к XIX веку, мы можем назвать такие имена, как Фрейд, Дарвин, Ницше, Эйнштейн, Достоевский, Толстой, то в наши дни трудно найти имена, с которыми были связаны великие свершения в науке и искусстве. Как когда-то говорил Блок, сейчас век "не салонов и гостиных, не Рекамье, а просто дам". Печатью посредственности окрашена наша эпоха, "век дарований половинных", как назвал ее тот же Блок, или век "маленького человека", как характеризовал ее Ницше.

Существуют некие глубинные процессы, которые подвергают эрозии в равной степени весь мир, несмотря на различие существующих социально-экономических структур и политических режимов, несмотря на острейшие конфронтации, раздирающие этот мир.

Какие же силы определяют упадок нашей культуры? Если обратиться к истокам этого процесса, то прежде всего следует назвать кризис религиозной морали и распад семьи — те же процессы, что мы видели в позднем Риме.

Известно, что вся наша этика проистекает из десяти заповедей Моисея, лежащих и по сей день в основе норм поведения человека. Даже в советском обществе, если вспомнить навязанный у всех в зубах так называемый моральный кодекс строителей коммунизма, то и он не что иное, как замешанные на советской пропаганде десять заповедей Моисея.

Когда-то Фрейд довольно цинично заметил, что наша этика является иллюстрацией к знаменитой басне Лафонтена "Лисица и виноград" (которую позже перевел и видоизменил Крылов). Как мы помним, это басня о лисице, утверждающей, что не любит виноград, что он слишком зелен и кисел, но на самом деле просто не способной его достать. В связи с этим Фрейд саркастически замечает, что, подобно лафонтеновской лисице, мы не совершаем дурных поступков, потому что боимся их совершать.

Существование религиозных и социальных запретов и лежит в основе современной этической культуры, когда человек твердо знает, что нельзя грабить, насиловать, убивать..,

Я часто задаю своим американским друзьям (в большинстве своем, атеистам), такой вопрос: "Ну хорошо, а что вы скажете своему ребенку — сыну или дочери — который, выслушав ваши увещания о том, что он не должен делать того-то и того-то, спросит: а почему, собственно, нельзя все это делать?"

Обычно в ответ на этот вопрос я слышу нечто маловразумительное. Например, как поведала мне одна социальная работница, она своим детям внушает: "А зачем вам совершать дурные поступки, если успеха можно достигнуть и без них?"

На самом деле ответить на эти "простые" вопросы никто не может. Детям говорят: "Это нехорошо!" И дальше этого не идут, ибо естественен следующий вопрос: "Но отчего же нехорошо?" На это, по-видимому, надо ответить так: "Это нехорошо, потому что нехорошо".

Но согласимся, что за всем этим стоит определенная недоговоренность.

Когда мы говорим — то хорошо, а это не хорошо, то, в сущности, бессознательно демонстрируем усвоенное от наших родителей представление о добре и зле. И опять же оно основано на традиционной "устаревшей" иудео-христианской этике. Мы восприняли ее от наших родителей или от наших дедушек и бабушек (которые были религиозными людьми).

Но усвоили мы ее без всякого вмешательства религии. Наши дети перенимают моральные нормы от нас, но делают это еще более автоматически. Да и усваивают они их в меньшей степени, потому что они чаще всего атеисты. И так из поколения в поколение исчезает сам стержень морали, в кругу которой, скорее уже по инерции, вращается современное общество.

Когда-то Достоевский заметил, что если не существует Бога, то становится все дозволено. Моральное одичание человека в атеистическом советском обществе — лучшая иллюстрация этих слов Достоевского.

Действительно, когда из нашего сознания исчезает представление о Боге, Исчезает и представление о морали. Понять, почему это так, не составляет труда. Без идеи, что наши ценности и поведение основаны на воздаянии за добрые дела и за грехи, что они основаны на какой-то сверхчувственной силе, которая преподает нам урок — что есть добро и что есть зло — без всего этого мы теряем ориентиры и перестаем понимать, что дозволено и что не дозволено.

Один считает убийство преступлением, а другой, совсем наоборот. Возьмем недавно вышедшую книгу Аббота "В чреве чудовища", которая привела в восторг Нормана Мейлера и всех американских "левых". Его преступления нимало не смущали их, для них он был вполне морален. Когда Аббот вышел из тюрьмы, они носили его на руках, пока через пару недель он не прикончил ни в чем не повинного человека.

Итак, нельзя не признать, что исчезновение религиозного стержня — это поистине трагедия современного общества, ибо разрушается сам фундамент нашей цивилизации.

Происходит опасный процесс, который можно назвать условно — десублимацией.

Введенный Фрейдом термин "сублимация" означает процесс подавления примитивных инстинктов и использование энергии этих инстинктов для создания творческих ценностей.

Десублимация — обратный процесс, который мы имеем удовольствие лицезреть. Мы видим, как современный человек постепенно идет в обратную сторону, от сложных, утонченных форм поведения и духовной деятельности к открытому проявлению примитивных инстинктов.

Процесс десублимации легко проследить на многих явлениях, ну, например, на эволюции так называемого "светского этикета". Широко известно, сколь утонченными, изысканными, может быть, даже жеманными были манеры высшего света европейского общества, особенно Англии конца прошлого века (так называемая Викторианская эпоха): наряды, форма одежды, изысканность поведения, когда мужчинам предписывалось переодеваться по несколько раз в день; изощренные моды, которым следовали дамы, даже среднего класса — насколько все это было сложно, изысканно и утонченно!

А что же теперь? Этикет, в старом понимании, исчезает. Все идет по

линии упрощения. Но что значит на самом деле эта простота?

Не так давно известный этолог Конрад Лоуренс, наблюдая различия в сексуальном поведении животных — домашних и домашних — описал своеобразие формы ухаживания, принятые у диких птиц. Оказывается, они придерживаются множества сложных и утонченных ритуалов. Именно так выглядят, например, брачные церемонии у диких цапель. Тот же Лоуренс обратил внимание на простоту и примитивность сексуального поведения домашних животных, в частности таких, как курица: петух просто-напросто использует курицу, и на этом все кончается.

Этот сдвиг от сложных и изощренных форм ухаживания к более примитивным Лоуренс назвал "вульгаризацией сексуального поведения".

Аналогичный процесс мы наблюдаем и в поведении людей. Достаточно сравнить формы ухаживания, принятые, скажем, в XIX веке, с сегодняшним днем, чтобы убедиться, насколько все стало примитивнее. Дистанция между возникновением и реализацией сексуального желания делается все меньшей.

Очень часто желание выражается прямо: словесно или недвусмысленным жестом. В то время как в прошлом влюбленный испытывал целую гамму разнообразных чувств, облакая их в искусство или в поэзию. Недаром тот же Фрейд говорил, что искусство — это не что иное как сублимированное сексуальное влечение.

А все это — опять же результат кризиса религиозной морали, то есть отказа от библейских запретов, ограничивавших "голый секс" как греховное и плотское чувство.

Но пойдём дальше и посмотрим, что происходит с семьей.

Для меня, как для психиатра, интересующегося так называемой психоисторией, особенно показателен этот процесс. Психоистория считает, что сдвиги в отношениях между родителями и детьми, изменения так называемой "техники воспитания" оказывают наиболее сильное воздействие не только на поведение людей, но и на саму структуру общества. То-есть, согласно психоисторической предпосылке, все социальные процессы обусловлены новой "техникой воспитания" детей. Насколько правы психоисторики, это другой вопрос, но тот факт, что воспитание ребенка оказывает фундаментальное воз-

действие на формирование личности и на социальные процессы, не вызывает сомнения.

Что же нового наблюдается в семье? Начнем с того, что во всем мире происходит дестабилизация ее структуры, сопровождаемая разрушением семейных связей и потерей родительского авторитета. Самое простое, пожалуй, сослаться на количество разводов. В СССР, даже согласно официальной статистике, число разводов достигает тридцати процентов, а в Америке эта цифра приближается к пятидесяти процентам. (Впрочем, и в Советском Союзе фактическое количество разводов не меньше).

Дело, однако, не столько в самой цифре, сколько в том, что за ней скрывается. А скрывается за ней процесс, который начался в общем-то не сегодня.

Дестабилизация семьи в России — я имею в виду крестьянскую семью — берет свое начало с середины XIX века. Как ни странно, процесс этот был связан с падением крепостного права и распадом нуклеарной, патриархальной семьи. И происходил он параллельно распаду крестьянской общины.

Старая патриархальная русская семья, веками существовавшая в деревне (да и в городе), постепенно стала давать трещину. Если в прошлом наиболее характерным ее качеством была главенствующая роль отца (который был неким царем-батюшкой в собственном доме), а жена и дети к нему обращались по имени-отчеству, то эта патриархальная семья под воздействием социально-экономических сдвигов стала распадаться: дети обрели большую свободу и не боялись больше лишиться отцовского благословения. Родители утратили право распоряжаться судьбами детей, решать вопросы их брака.

У русских писателей мы находим великолепные рассказы, живописующие процесс кризиса русской крестьянской семьи. Возможно этот процесс шел бы куда медленнее, но его ускорила революция, после которой крестьянская семья распалась. Это же происходило в городе.

Сейчас в России власть родителей настолько ослабла, что многие из них просто боятся своих подростков-детей. То же происходит и на Западе, в частности в Америке, где утрата родительского авторитета сопровождается так называемой сверхпрощаемостью.

Канули в лету времена авторитарного воспитания ребенка,

когда дети слушались каждого слова родителей. В Америке дети называли отца не иначе, как "сэр", а мать — "мэм". Из литературы мы знаем, что на вопросы родителей разрешалось только отвечать (самим задавать их не полагалось), — "Йес, сэр, но сэр!" И так продолжалось вплоть до начала двадцатого века.

Надо ли говорить, насколько картина изменилась сегодня. Подсростки на каждом шагу спорят и конфликтуют с родителями. Многие бегут из родительского дома и живут, как хотят. Но дело не только в семейных скандалах и эпидемиях побегов. Отношения с родителями изменились в принципе. Последние перестали быть моделью поведения для своих детей. Разве лишь в первые годы жизни ребенок видит в отце и матери идеал для подражания. Теперь для подростков они скорее мишень для насмешек.

Поскольку это изменение имеет колоссальное значение для будущего, я хотел бы специально остановиться на его последствиях.

Я уже говорил, что ребенок усваивает нравственные нормы прежде всего от родителей, в особенности от отца. (Психологи называют это "интернализацией" морали и формированием "сверх-я"). Так вот, иногда родители, и, в частности, отец — перестают быть образцом для "интернализации" — не происходит образования "сверх-я", то-есть, у ребенка не формируются чувства долга, ответственности, самодисциплины, совести, умение сдерживать свои желания и контролировать свое поведение. В результате мы наблюдаем столь пугающий современных родителей рост распушенности, эгоизма, несдержанности и грубости среди подростков, даже из так называемых "хороших семей".

Другое, я бы сказал, драматическое последствие упадка родительского авторитета — это растущая среди молодежи неприязнь и враждебность к старым людям. Ушло время, когда старость считалась порой мудрости, и старики пользовались уважением, почетом как главы семей. Теперь старость, несмотря на все успехи гериатрии, ожидается людьми с ужасом и отвращением, как время недугов, болезней и беспомощности. В

нашем обществе царит культ молодости, здоровья и физической красоты. В Америке молодежь старается сбывать старых людей в Дома престарелых (нерсинг хомс), а в России, где такой возможности нет, — терпят, подавляя в себе глухое недовольство и раздражение.

В США, как правило, старики живут отдельно от детей, в бедных и скученных кварталах больших городов (или те, что побогаче, во Флориде), — живут, подобно обитателям гетто. Они боятся выходить на улицы, чтобы не стать жертвами нападений молодых хулиганов или грабителей.

Продолжим, однако, об эволюции отношений внутри семьи. В прошлом дети нередко становились жертвами жестокого обращения со стороны родителей. По всякому поводу их били и относились к ним, скорее как к животным, а не как к человеческим существам. Их чувствами никто не интересовался. (Вспомните описания Диккенса). Когда приходило время, молодых людей женили, не спрашивая зачастую их согласия.

Теперь все изменилось. Но как это часто бывает, прогресс эмансипации детей превратился в собственную противоположность. Получив свободу, дети начали бунтовать и делают прямо противоположное тому, что требуют родители. Если отец или мать настаивают на определенных нормах поведения, то подросток будет делать все наоборот. Родители чувствуют, что они утрачивают само право осуществлять власть над детьми.

Это ощущение бесправия и даже собственного бессилия укрепляют в них работники просвещения, психологи — я имею в виду западное общество — которые им внушают: "Да, вы ни при каких обстоятельствах не вправе насиловать волю детей и тем более обращаться к силе. Вы должны постараться уговорить их, переубедить... "

Родители оказываются в растерянности, не зная, какие механизмы воспитания использовать, чтобы сохранить хоть какое-то влияние на своих взбунтовавшихся отпрысков. Бессилие это проявляется во многих сферах, но прежде всего, когда речь заходит о сексуальном поведении детей.

И на этом пункте я хотел бы немного задержаться. Нужно

признать, что так называемая сексуальная революция охватила прежде всего подростков.

И в Советском Союзе, и в американском обществе хаотические половые связи в их среде стали нормой. Сексуальная невинность не только не считается достоинством, но, напротив, недостатком, у большинства юношей вызывает иронию и насмешки.

Поощряется это и средствами массовой информации, фильмами, порнографической литературой, влиянием сверстников — словом, речь идет о целой эпидемии социальной распущенности. Она-то и была названа либеральными сторонниками свободной любви сексуальной революцией.

Я не намерен становиться в позу судьи и обсуждать, как это выглядит с точки зрения моральной. Можно спорить о том, вредят ли беспорядочные половые отношения физическому здоровью подростка, но тот факт, что они воздействуют на стабильность его психики, — не вызывает сомнения. Происходит инфляция чувств, поскольку секс становится абсолютно свободным товаром, которым можно пользоваться без ограничений. Нет больше необходимости влюбляться, ухаживать, идеализировать предмет любви. Все легко и доступно, и это неизбежно приводит к эмоциональному опустошению подростка. Секс становится только одним из способов удовлетворения физической потребности, так же, как удовлетворяется потребность в пище, воде и так далее.

В прошлом сам факт того, что юноша должен был добиваться девушки длительно, с трудом, стремясь стать достойным предмета своей любви, — оказывал положительное влияние, стимулировал его активность, его духовный рост.

Сейчас необходимость подобного поведения исчезла. К двадцати-двадцати пяти годам молодые люди нередко уже познали все. Секс становится неким доставляющим удовольствие механическим процессом, но за это раннее повзросление, как я уже говорил, приходится расплачиваться эмоциональной опустошенностью и нередко исчезновением самого интереса к жизни.

То же самое относится и к другим формам поведения молодежи. Пьянство, употребление наркотиков сегодня уже никого не удивляют.

Несколько дней тому назад я консультировал одного молодого человека из хорошей еврейской семьи, который стал наркоманом. Осмотрев его, я подумал, что лет пятьдесят назад это было бы вряд ли возможно. Мальчик окончил специальную математическую школу для одаренных детей, его талант был даже отмечен специальной премией. Но вместо того, чтобы учиться дальше, он под влиянием приятелей стал принимать наркотики, включая самые тяжелые, вызывающие психические расстройства и галлюцинации. И вот он в течение нескольких лет находится в психиатрической больнице.

Раннее употребление наркотиков является прежде всего результатом того, что семья теряет контроль над поведением подростков, которые рассматриваются как вполне самостоятельные, полноценные граждане, имеющие все права чуть ли не с четырнадцати-пятнадцати лет, хотя все прекрасно понимают, что в этом возрасте ни о какой полноценности и зрелости не может быть и речи.

Правда, последнее законодательство признало, что применение алкоголя должно быть разрешено только с двадцати одного года. И это опять же является парадоксом: с одной стороны, признается, что восемнадцатилетний юноша или девушка — уже полноценные зрелые люди, а с другой стороны, — им до двадцати одного года воспрещается употреблять алкогольные напитки, значит, до двадцати одного года они, в каком-то отношении, не зрелы.

И далее: если до двадцати одного года они недостаточно зрелы, чтобы употреблять спиртные напитки, то отчего же им предоставляется свобода безудержно и беспорядочно заниматься сексом.

Итак, упадок иудео-христианской традиции и упадок семьи шли рука об руку. Это не случайно. Западная патриархальная семья зиждется на Библии, которая установила строгие правила семейной жизни. Одновременно с падением авторитета религии падала и стабильность семьи, которая вскоре, очевидно, превратится в совершенно архаичный институт, а воспитание детей перейдет в руки матерей-одиночек или государства.

Но падение крепкой семьи и авторитета родителей подрыв-

вало, в свою очередь, религиозные основы жизни (не случайно Фрейд считал, что религия возникла из обожествления отца). Этот взаимосвязанный процесс привел к вульгаризации поведения, огрублению человеческих отношений, распущенности и широкому распространению хамства в поведении людей.

Этот процесс я назвал "синдромом хама", имея в виду не только русское слово "хамство" (которому, кстати, нет эквивалента в английском языке), но и того первоначального "хама", о котором рассказывает Библия.

Вспомним это библейское сказание, что у Ноя было три сына: Сим, Хам и Яфет (которые были родоначальниками различных рас). Когда Ной приготовил виноградное вино, то, напившись, он заснул пьяным и обнаженным. Войдя в шатер отца и увидев его в столь непристойном виде, Хам решил поиздеваться над ним и позвал братьев, но последние, соблюдая почтение к отцу, закрыли лицо и вышли из шатра. В наказание за непочтение к отцу Бог проклял Хама и обрек его потомство на рабство.

Это сказание, как и многие другие библейские истории, имеет глубокий смысл.

Хамство (в том смысле, в каком мы говорили) не национальное явление. Когда-то Мережковский писал об угрозе грядущего хама. Теперь мы все чаще лицезируем на улицах американских, европейских и советских городов — хама, уже пришедшего и торжествующего.

Разрушение семьи органически связано с другим процессом — с утратой традиции и потерей чувства преемственности. Истоки этого процесса — как это ни парадоксально — берут свое начало в просвещенном XVIII веке. Как мы знаем, идеи просветителей — Руссо, Вольтера, Дидро, Монтескье — в основном, были направлены в сторону критического переосмысливания старых ценностей. Просвещенные энциклопедисты высмеивали традиции. Они старались перетрясти все без исключения, начиная от идеи Бога и кончая идеей монархии, с точки зрения критического разума.

Антитрадиционализм, как и другие явления в истории человеческой мысли, вначале имел прогрессивный характер.

Было бы смешно говорить, что устаревшие средневековые идеи и традиции, которым бросил вызов антитрадиционализм, были хорошими, а то, что исповедовали энциклопедисты, было плохо. Парадокс, однако, в том, что антитрадиционализм в какой-то мере и вызвал к жизни плоды, которые мы пожинаем.

Рассмотрим с этой точки зрения такое органически связанное с прошлым чувство, как патриотизм.

Вряд ли вы сегодня назовете страну, где бы у людей сохранилась святость этого чувства. Возьмем хотя бы отношение американцев к патриотизму, к своему флагу, к национальному гимну. Похоже, что сама идея патриотизма в современном американском обществе выглядит смешно и архаично. Если о нем и говорят, то чаще с иронией и улыбкой. Чего стоит привязанность к родине у ряда американцев, говорит, например, недавний судебный процесс группы советских шпионов. А это ведь были самые что ни на есть коренные жители страны, янки, потомки тех, кто закладывал основы этого государства.

Скажем, еще сто лет назад было бы просто немыслимо, чтобы человек продал за 20-30-100 тысяч долларов свою родину. Если бы это произошло, его бы линчевали, а сейчас, похоже, все это в порядке вещей.

Тот же разрыв с традициями наблюдается и в России, где предпринимаются попытки любым способом восстановить преемственность с прошлым. И хотя все это носит казенно-бюрократический характер, все эти разговоры о национальном и военно-патриотическом воспитании, восстановлении церквей или сохранении старых икон, но сама попытка режима выглядит весьма симптоматичной. Похоже, и советские власти отчетливо понимают, что империю нельзя сохранить без восстановления преемственности поколений. Но восстановить ее вряд ли удастся.

На мой взгляд, Солженицын был прав, когда утверждал, что большевики сломали стеной хребет русской истории.

Конечно, это не новый феномен. Утрата чувства преемственности начала ощущаться уже к концу эпохи феодализма,

точнее, когда человек переставал ощущать свою принадлежность к определенной касте, сословию или гильдии.

Возьмем простейший пример — человек был сапожником и его отец был сапожником, и дед. Как правило, человек гордился своей принадлежностью к этой ремесленной касте. Он чувствовал себя ее членом, и он вел себя соответственным образом, сообразуясь с нормами, выработанными кастой или гильдией и передаваемыми из поколения в поколение. Подобные ощущения мы находим и у старой аристократии, и, в значительной степени, у старого крестьянства.

Но постепенно они утрачивались, происходил двойственный противоречивый процесс. С одной стороны, освобождение от кастовых и сословных пут раскрепощало человека, подобно тому как молодежь раскрепощалась от пут семьи. Человек ощущал свою самоценность. Он был, прежде всего, личностью, а не частью чего-то обязывающего жить по определенным правилам. Над ним теперь не было никого: ни Бога, ни семьи, ни религии, ни нации. И это сообщало ему пьянящее чувство свободы, ощущение, что он и только он — хозяин своей судьбы.

Но ирония эмансипации состояла в том, что та же свобода и избавление от связей и пут прошлого породили у человека ощущение изоляции, одиночества, тревоги и потерю уверенности в стройной системе и правопорядке, которые охраняли его в прошлом.

Окончание в следующем номере

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ МУЗЫКУ ВАГНЕРА?

Юрий АРАНОВИЧ

Задача этой статьи — не отвлеченные музыковедческие размышления, а попытка познакомить широкий круг любителей музыки с фактами, основанными на цитатах самого Рихарда Вагнера и его современников.

Ю.А.

"Евреи — это черви, крысы, трихины, глисты, которых нужно уничтожить, как чуму, до последнего микроба, потому что против них нет никакого средства, разве что ядовитые газы".

Р.ВАГНЕР.

Письмо к Козиме

1849 год

В одном из израильских русскоязычных журналов я прочел, что о Вагнере больше нигде не спорят, кроме Израиля. Передо мной книга Клауса Умбаха "Рихард Вагнер" (Клаус Умбах — один из самых серьезных и глубоких исследователей творчества Вагнера), которая начинается словами: "Даже сто лет после смерти Вагнера его физическая смерть вызывает большие дискуссии. Был ли Вагнер вообще человеком? Был ли он музыкантом? Вел ли он священную войну за свои религиозные и шовинистические убеждения или занимался только тем, что прекрасными звуками изображал прелесть искусства?"

Сама эта цитата говорит о том, что не только в Израиле и других странах, но и в самой Германии еще не решен вопрос — кто такой Рихард Вагнер. Не решен настолько, что второй

* Журнал "Алеф", публикуется с разрешения дирекции издательства "Хама" (Нью-Йорк).

том дневников жены Вагнера, Козимы, не разрешили печатать по цензурным соображениям, ведь дневники Козимы — это стенографическая запись ее бесед со своим мужем.

Мы много спорим о Вагнере. Спорим темпераментно, но я думаю, что не всегда знаем, о чем идет речь. Объяснений этому много. Прежде всего именно мы, евреи из СССР, знаем о Вагнере меньше всех. В Советском Союзе Вагнер — композитор почти неизвестен, а Вагнер-человек неизвестен абсолютно. Его антисемитская философия не упоминается ни в одном труде о Вагнере, и сочинений его, кроме симфонических фрагментов, практически никто в действительности не знает. Я понял это только здесь, на Западе, близко познакомившись с оригинальными либретто опер Вагнера.

Вначале приведу несколько цитат. В своей книге, одну из глав которой Вагнер называет "Ожидовевшее искусство", он пишет: "Было бы глубочайшей ошибкой отделить Вагнера, мыслителя и философа, от Вагнера-композитора. Может быть, в других случаях это возможно, но в моем — нет". Вагнер не оставляет никаких сомнений в том, что он хочет сказать своей музыкой. В письме к Листу в 1848-м году он приглашал его (как Вагнер сам пишет) "... заниматься музыкальным терроризмом". И действительно, с полным основанием Вагнера можно назвать первым музыкальным террористом нашего времени. И точно так же, как, например, Арафат и его организация заложили краеугольные камни терроризма интернационального, Вагнер является автором теории музыкального терроризма и вообще терроризма в искусстве. Поэтому наше отношение к Вагнеру должно выражаться как отношение к идеологу определенного течения, определенной цели в музыкальном искусстве. И не только в музыке, но и в политике, общественной жизни.

Какова же была его основная цель? Ее Вагнер выражает совершенно ясно в последней главе своей нашумевшей и не перестающей вызывать ожесточенные споры до наших дней книге, одна из глав которой называется "Окончательное решение еврейского вопроса" (кстати, он первый ввел этот термин). Вагнер написал письмо в баварский парламент, в котором

предлагал свой план уничтожения евреев. Ни один из музыкантов, и не только музыкантов, но и философов вообще, никогда до Вагнера не выступал с программой уничтожения народа. Даже Ницше, которого трудно заподозрить в симпатиях к евреям, написал ему письмо, где сказал, что за это предложение Вагнер достоин того, "чтобы он умер в тюрьме, а не в своей постели".

Был ли Вагнер музыкантом и был ли он вообще человеком? В своем письме Вагнеру Ницше заявляет открыто: "Вы не человек, вы просто болезнь".

Вагнер заботился о том, чтобы его идеи были ясно поняты последующими поколениями. Например, на праздновании 68-летия, за год до смерти, Вагнер в ответной речи сказал: "Моя дирижерская палочка еще много раз будет показывать грядущим поколениям, на какой путь они должны стать". Каким же действительно был путь, на который направлял Вагнер последующие поколения? Первая и главная цель — освобождение человечества от евреев. Во-первых, потому что "евреи, как мухи и крысы: чем больше вы их уничтожаете, тем больше они плодятся. Не существует никакого средства, кроме тотального уничтожения. Еврейская раса родилась как враг человечества и всего человеческого. И особенно враг всего немецкого. И до того пока последний еврей не будет уничтожен, немецкое искусство не может спать спокойно".

Эта идея была, как Вагнер сам говорит, "лейтмотивом моей жизни". Посмотрим, совпадают ли его слова, его ненависть к евреям с той музыкой, которую он пишет. Может быть, действительно это только слова, а музыка прекрасна? Вагнер на самом деле не является архитектором новой оперы. В жанре оперы он пользовался новыми приемами, украденными, в частности, у Листа. Не будем переоценивать значение Вагнера в музыке. Он привел жанр оперы в тупик и поэтому не имеет последователей. Были, правда, несколько неудачных имитаторов, эпигонов, но, если мы говорим о музыке конца 19-го и 20-го столетия, ни один композитор практически не пошел за Вагнером. Его открытия были сделаны на бесплодной почве. Принцип речитативного развития музыкальной ткани не на-

шел никаких последователей, потому что был мертв, потому что у Вагнера он был связан со словом, и слово было носителем идеи, а идея была сама по себе античеловеческая. В этом существо творческого банкротства Вагнера.

Вагнер, разговаривая, вещал в очень возвышенно-мистических тонах. "Слово — "самка", которая родилась для того, чтобы быть беременной, и слово беременно моей идеей". А идеи были самые ужасные. Попробуем связать, например, музыкальными интонациями те слова, которые он вкладывает в уста Миме, персонажа из "Кольца Нибелунгов". Этот отвратительный карлик — олицетворение еврейства, — по желанию Вагнера, должен быть таким ужасным, что даже петь обязан с еврейским акцентом.

Я хотел бы отослать сторонников и любителей музыки Вагнера у нас в стране к этим страницам партитуры и потом спросить их, хотят ли они что-либо подобное слушать со сцены в Израиле. К сожалению, все эти тонкости практически неизвестны не только любителям музыки, но часто даже профессионалам-музыкантам. Зато защитникам Вагнера очень хорошо известно, например, о том, что первым дирижером оперы Вагнера "Парсифаль" был еврей Герман Леви, и это важный аргумент в устах защитников Вагнера. Но им нужно вспомнить или знать о том, как все это происходило на самом деле.

Герман Леви по контракту был придворным капельмейстером баварской Королевской капеллы. Оркестр этот не имел права выступать ни с кем другим, кроме Леви. Контракт не мог отменить даже Людвиг Второй, король Баварии. Однако в случае с "Парсифалем" и Германом Леви между Рихардом Вагнером и баварским королем был составлен новый контракт. Тех, кто хочет убедиться в его существовании, мы можем направить в музей немецкого искусства в Мюнхене. Фотокопия этого документа, который очень неохотно дают посетителям, находится в музее Вагнера в Байрейте. А те, кому и то и другое трудно или невозможно, могут найти подробное описание этого контракта в книге Клауса Умбаха "Рихард Вагнер". Контракт этот состоит из трех пунктов. Первый: до того как Герман Леви начнет первую репетицию, он должен

креститься. Во втором пункте Вагнер оговаривает себе право никогда не разговаривать даже с крещеным Германом Леви непосредственно, а всегда только через третье лицо. Третий пункт: после первого исполнения "Парсифаля" Вагнер оговаривает себе право в присутствии баварского короля Людвига Второго сказать Герману Леви, что он, как еврей, имеет только одно право — умереть, и как можно скорее. Под контрактом есть приписка, сделанная Вагнером и баварским королем: "Контракт был выполнен во всех его пунктах".

Можно попытаться обнаружить начало антисемитизма Вагнера. Он стал юдофобом после смерти его матери и последовавшей вскоре после этого смерти его первой жены Минны Планер, которая была еврейкой. В одном из своих писем в этот период Вагнер неожиданно пишет: "Я был на кладбище и посетил могилу моей любимой собаки" (собака лежала рядом с его женой, но Вагнер пишет только о посещении могилы любимой собаки). Именно в этот момент начинается вспышка зоологического антисемитизма, который не оставляет Вагнера до самой смерти.

Однако вернемся к "Парсифалю", который занимает в творчестве Вагнера особое место. Он называл эту оперу "завещанием для будущих потомков". В предисловии к первому изданию "Парсифаля" Вагнер писал: "В моей опере "Парсифаль" я представляю идею фигуры Христа, которая очищена от еврейской крови". Для Вагнера "Парсифаль", как он сам называет, — это "избавление от избавителя". Почему нужно избавиться от Христа? Вагнер пишет дальше: "Ведь в жилах Христа текла еврейская кровь". Отталкиваясь от этого, Вагнер пускается в долгие философствования о том, какая часть еврейской крови может дать право человеку считаться неевреем. И вот что пишет он в своем дневнике и что подтверждает также дневник Козимы Вагнер, его второй жены: "Сначала я пришел к выводу, что одна шестнадцатая доля еврейской крови уже может освободить еврея от его преступления перед человечеством". Кстати, напомним, что эту пропорцию — одна шестнадцатая — Гитлер считал уже достаточной для того, чтобы физически не уничтожать, изолировать, но не уничтожать человека

физически. Но потом, как пишет Вагнер: "Я пришел к выводу, что даже одной микроскопической капли крови (он употребляет даже не слово "капля", а "целле" (клетка), одной микроскопической клетки еврейской крови уже достаточно, чтобы человек никогда не смыл с себя позор быть евреем, и он должен быть уничтожен". Здесь мы видим, что Вагнер пошел даже дальше нацистов. И вот этой-то идее посвятил себя Вагнер в "Парсифале". И еще одна цитата. Вагнер просит, чтобы перед исполнением "Парсифиля" на сцене была разыграна мистерия, в которой "тело Христа будет сожжено вместе с другими евреями как символ избавления от еврейства вообще". Но даже во времена Вагнера никто не решился на подобные вещи. Или приведу такой диалог между Кундри и Парсифалем, когда Кундри не знает, кто пришел, и она говорит: "Кто ты, неизвестный путник? Ты устал, и твои руки обогреты кровью. Но если они обогреты еврейской кровью, тогда ты желанный гость в моем доме".

После окончания работы над "Парсифалем" Вагнер писал своей жене, что "звуки уничтожения, которые я написал для литавр в соль-миноре, олицетворяют гибель всего еврейства, и поверь мне, я не написал ничего прекраснее". Я хотел бы спросить у защитников Вагнера, знают ли они об этом? И те, кто знает, хотят ли они слушать его произведения, или, может быть, эти слова заставят задуматься о том, что музыка не всегда является сочетанием звуков, иногда она может быть оружием смерти?

Даже Ницше назвал "Парсифаль" черной мессой. И это действительно так.

Из того, что Вагнер посеял на музыкальной почве, взошли хорошие всходы. Очень часто можно услышать: "Да, но Вагнер в том не виноват". К сожалению, все, что пишет сам Вагнер о себе, опровергает подобный подход. Потому что Вагнер не только хотел осуществления своих идей, но даже сказал: "И после моей смерти (он называл себя во множественном числе, ибо считал, что он и Бог — это почти одинаковые по важности явления), мы сверху будем следить, чтобы все шло по пути, указанному нами". Именно эти идеи Вагнера были при-

няты нацистским режимом, и очень часто не было необходимости изменять ни мелодию, ни слова — все подходило и без этого.

Вся философия Вагнера — это тенденция разрушения, даже когда он говорит о любви. Еще раз цитирую: "Женщина является депо для сперматозоидов. Если это депо иногда проявляет чувства, способствующие оплодотворению (такие, как любовь), то эти чувства можно разрешить. В противном случае их эти чувства, нужно уничтожить".

Иногда задают вопрос, каким же образом мог человек с такой философией написать "Смерть Изольды" и любовную сцену смерти Изольды? Вагнер даже не ставил себе целью написать сцену человеческой любви. Он прямо пишет, что предпочитал, чтобы смерть Изольды была в спектакле инсценирована вообще без Изольды и Тристана. Это, как он говорил, "беспредельные мистические передвижения материи в нужном нам направлении". Например, Чайковский пишет, что "Смерть Изольды" он слушал с огромным вниманием, но когда ушел из театра, то все забыл.

Музыка Вагнера, по словам Ницше и самого Вагнера, — это "яд, который одурманивает мозг". Наша цель — как можно скорей избавиться от этого дурмана, пока он не разрушил наш организм. Музыка Вагнера, безусловно, обладает свойствами наркотиков, но от наркотиков надо вылечиваться. И я думаю, что от музыки Вагнера тоже надо вылечиться. Есть очень много людей, которые вылечились. Например, мы знаем об отношении Верди к Вагнеру. Верди, который с самого начала был очень увлечен Вагнером, в конце, когда он понял, что это такое, написал в своем дневнике: "Грустно, грустно, грустно, очень грустно. Как бы ни было грустно, но мы должны расстаться с музыкой Вагнера, если не хотим, чтобы нас (он имел в виду музыкантов) уничтожила его злая сила". Вообще все, что связано с уничтожением в любой области — это обязательно связано с Вагнером.

В философии существуют позитивное и негативное начала. Негативное начало тоже может быть очень сильным. Никто ни в коем случае не отказывает Вагнеру в музыкальном дарова-

нии, которое очень велико. Но мы знаем также такие определения, как "злой дух" или "злой гений".

Вагнер как комплексное явление представляет опасность для человеческого мышления, и эта опасность усугубляется тем, что Вагнер как музыкант обладает большой силой. Но в истории есть немало таких же примеров. Если бы такое незаурядное явление, как Ленин, было бы направлено на добро, сколько хорошего могло бы быть создано, сколько замечательных вещей произошло бы в мире! Однако, к сожалению, несмотря на то, что Ленин, безусловно, принадлежит к числу гениальных политических вождей, значение его ужасающее. Как пишет Алданов в своем романе "Самоубийство": "Народы отмечали смерть Ленина, но лучше бы отмечать дату его нерождения". Я думаю, что, несмотря на все, что сделал Вагнер, лучше бы он не родился.

М.ШНЕЙДЕР

ЮРИЙ АРАНОВИЧ ПРОТИВ РИХАРДА ВАГНЕРА

"... самая искренняя, самая героическая, самая щедрая душа, переполненная всеми страстями мира, всеми веяниями земли".

"... два человека, которых я одинаково любил, перед которыми я благоговел, как перед самыми великими душами в Европе, — Толстой и Вагнер".

Р. РОЛЛАН. "Вагнер".

Поднявшаяся в Израиле кампания против Рихарда Вагнера достигла своего апогея, когда в нее включился дирижер Юрий Аранович. Его статья "Любите ли вы музыку Вагнера?", напечатанная в израильском русскоязычном журнале "Алеф" (№ 109), стала своего рода манифестом ненавистников Вагнера. До сих пор разоблачением композитора занимались любители-дилетанты. Теперь свое авторитетное слово сказал профессионал-знаток. Это ли не победа? Но вот вопрос: много ли израильтянам чести от такой "победы"?

Желание принизить великого композитора — само по себе не ново. Однако при всей нелепости доводов его ненавистников они аргументировали правдой. Правда, что Вагнер — шовинист и антисемит. Правда, что нацисты создали культ Вагнера, что под звуки вагнеровских маршей вели узников немецких концлагерей в газовые камеры. Конечно, это не аргумент против его музыки, но это правда. Смехотворны обвинения Вагнера в том, что он отвергал религию, но и этот нелепый ар-

гумент соответствует действительности. Говорят, что музыка Вагнера гипнотизирует наши чувства. И здесь критики аргументируют правдой, хотя эта правда, конечно, свидетельствует против них же. Вагнера отвергали и за его участие в революции. Нет ничего смешнее этого аргумента, но Вагнер — таки сражался на баррикадах Дрездена.

Споры о Вагнере не утихли и по сей день. Среди его современников были музыканты, которые начисто отвергали его творчество, опасаясь его "пагубного" влияния на всю эволюцию музыкальной культуры. Но и при жизни Вагнера, в пору самой ожесточенной полемики вокруг его имени, такие крупнейшие композиторы, как Верди, Брамс, Бизе (не говоря уже о друге и единомышленнике Вагнера, Листе), не одобряя в музыке Вагнера отдельных тенденций, в целом признавали его гениальность. Чайковский, по его собственным словам, питал мало симпатий к тому, что называется культом вагнеровских теорий. Но он писал: "Как композитор Вагнер, несомненно, одна из самых замечательных личностей во второй половине этого столетия и его влияние на музыку огромно".

Однако в представлении Арановича мир в течение полутора веков был введен в заблуждение, но вот, по его мнению, наконец будет "решен вопрос — кто такой Рихард Вагнер", и мир, обнаружив свою ошибку, не захочет больше слушать его музыку. Но что можно "решить" о музыке, которая прошла испытание временем и все чаще исполняется, доставляя наслаждение миллионам людей?

Разве можно "решить вопрос", что в искусстве следует нам любить? Пусть Аранович "решит", что музыку Вагнера нужно ненавидеть — миллионы людей не перестанут ею восхищаться.

Аранович заявляет, что задача его статьи — "не отвлеченные музыковедческие размышления", а попытка познакомить читателя с "фактами, основанными на цитатах самого Вагнера и его современников".

Но как он судит о философии Вагнера? "Вся философия Вагнера — это тенденция разрушения", — пишет Аранович, умудрившийся в двух словах охарактеризовать философию великого композитора и заодно расправиться с ней. Но еще

большого удивления достоин выбор "факта, основанного на цитате", которым Аранович обосновывает свою характеристику философии Вагнера. Оказывается, Вагнер где-то выразился, что "женщина является депо для приема сперматозоидов", которому "можно разрешить только чувства, способствующие оплодотворению", другие же чувства "нужно уничтожить".

Этой одной цитатой Аранович начинает и ею же заканчивает свое исследование философии Вагнера. Что ж, слова эти свидетельствуют об известном цинизме Вагнера. Но какое отношение имеют эти слова, вырванные из контекста и неизвестно по какому поводу сказанные, к философии Вагнера в целом? И почему эта философия — тенденция разрушения?

Рамки журнальной статьи не позволяют подробнее остановиться на мировоззрении композитора. Наша задача — показать, что Аранович грубо извращает правду о Вагнере, недостойным образом обращаясь с цитатами.

На какого читателя он рассчитывает? За кого он его принимает? "Цитирую", — вещает Аранович тоном оракула и внушает читателю, будто любая цитата из Вагнера — это и есть вся правда о нем.

"Мир плох, плох, совершенно плох. И только сердце друга, только слезы женщины могут избавить его от проклятья", — тоже цитата из Вагнера. Но где здесь тенденция разрушения? Болью и страданием за несовершенство мира проникнуты слова Вагнера, стремящегося противопоставить злу современной ему действительности дружбу и любовь, роднящую и объединяющую людей.

Цинизм в отношении к женщине? Напротив, женщина для композитора — символ деятельного добра, символ искупления царящего в мире зла.

Мировоззрение Вагнера слишком сложно, чтобы можно было охарактеризовать его той или иной цитатой. Выпячивая одну из сторон сложного облика Вагнера — человека, мыслителя, композитора, Аранович дает искаженное представление о нем.

Вагнер прошел сложный путь идейного развития. Участник

революции 1848-го года, он перешел в лагерь реакции. Республиканец и проповедник социалистических идей, он стал заискивать перед монархом и славить его государство. Интернационалист стал шовинистом. Атеист превратился в мистика. Когда-то убежденный фейербахианец, он нашел свое последнее откровение в философии Шопенгауэра. На смену революционно-оптимистическому пониманию искусства (как одновременно и призыва к революции и модели будущего общества социальной справедливости) пришло пессимистическое, в духе философии Шопенгауэра, искусство как благородная иллюзия, противопоставляемая действительности. Бунтарь против сильных мира сего и хозяев денежного мешка, он оказался в зависимости от тех и других. Вагнер стал проповедовать оголтелый антисемитизм. И пусть сам он отверг свои бунтарские увлечения как заблуждения молодости — мы не имеем права устранять их из его биографии. До конца жизни Вагнер остался верен идее абсолютной ценности человеческой личности, обретающей свою истинную силу в искусстве, — идее, которую Вагнер так вдохновенно выразил в своей ранней работе "Искусство и революция":

"Мы должны любить всех людей, прежде чем сможем по-настоящему любить самих себя, прежде чем сумеем обрести истинную радость в нашей собственной личности. От позорного рабского ига всеобщей пошлости... мы хотим воспарить к свободной мужественности искусства... из усталых, изможденных тружеников наемного труда мы хотим стать прекрасными, сильными людьми, которым принадлежит мир как вечный, неисчерпаемый источник высших художественных радостей... Но откуда мы унаследуем эту силу в нашем современном состоянии безмерной слабости? Где взять эту мужественную силу против давящего гнета цивилизации, отрицающей все человеческое, против высокомерия культуры, использующей человеческий ум лишь в качестве энергии пара для своей машины? Откуда взять свет, чтобы осветить им ту ужасную господствующую ересь, что эта цивилизация и ее культура обладают большей ценностью, чем реальный живой человек, что этот человек представляет собой ценность и стоимость лишь как орудие в руках этих деспотичных абстрактных сил, а не в силу достоинства своей человечности?"

Даже на старости окруженный лестью и осыпанный официальными почестями, нетерпимый и маниакально-тщеславный,

предавший забвению былые идеалы, Вагнер оставался верен романтической мечте о бегстве из мира социального и нравственного зла.

Он сам указывал, что замысел его последней оперы "Парсифаль" вызван желанием отойти от ненавистной ему действительности: "Какой человек в состоянии в течение целой жизни погружать свой взгляд с веселым сердцем и спокойной душой в недра этого мира организованного убийства и грабежа, узаконенного ложью, обманом и лицемерием, и не бывает порой вынужден от него отворачиваться с дрожью и отвращением?" Не ясно ли, что эти слова полнее характеризуют философию Вагнера, чем те, что цитирует Аранович? Не вернее ли судить о мировоззрении художника не по тем или иным его творческим высказываниям, а по объективному смыслу его творчества?

Впрочем, можно привести сотни суждений Вагнера о музыке и об искусстве, поражающих глубиной философской мысли и свидетельствующих об исключительной возвышенности его эстетической концепции. Но Аранович и здесь отыскал нужную цитату. Оказывается, Вагнер приглашал Листа "заниматься музыкальным терроризмом". Всего три слова из частного письма, взятых вне контекста, — и вот вам эстетическое кредо Вагнера: "И действительно, с полным основанием Вагнера можно назвать первым музыкальным террористом нашего времени".

Читатель обращается к цитируемому источнику и узнает, во-первых, что Вагнер приглашал Листа заниматься не музыкальным, а "художественным терроризмом", и что, стало быть, Аранович искажил смысл цитаты, не без умысла, по-своему, "уточнив" мысль Вагнера.

Во-вторых, мы убеждаемся, что "террористическое" заявление Вагнера не имеет ничего общего с эстетической декларацией. Призывая Листа "заниматься художественным терроризмом", он уточняет: "... Поведем охоту и будем стрелять, чтобы слева и справа остались лежать зайцы", — явная метафора, которой молодой Вагнер скорее всего выразил свое воинственное отношение к тем или иным композиторам, против

которых он вместе с Листом вел борьбу, отстаивая (Аранович это отлично знает) не терроризм, а высокие принципы программности, содержательности и философской глубины музыкального творчества.

Напрасно мы будем искать в литературе о Вагнере самый термин "музыкальный терроризм". Ведь до Арановича ни один музыковед, ни один любитель музыки так и не мог догадаться, что музыка, доставляющая ему такое наслаждение, — не что иное, как терроризм в искусстве.

Если же Аранович открыл, что Вагнер — "первый музыкальный террорист" и "автор теории музыкального терроризма и, вообще, терроризма в искусстве", то пусть он разъяснит: что все это значит? Что такое "музыкальный терроризм", что такое "терроризм в искусстве" и как он сказался в творчестве Вагнера? И кого намеревался Вагнер терроризировать своей музыкой?

Можно ли придумать более компрометирующее, более пугающее клеймо? Остается только провести параллель между музыкальным террористом № 1, Вагнером, и политическим террористом № 1, Арафатом, — и читателю станет ясно: музыкальный терроризм Вагнера — не что иное, как художественный эквивалент идеологии уничтожения еврейского народа, проповедь зоологического антисемитизма средствами музыкально искусства. Разумеется, Аранович не решается высказать эту мысль прямо, но он внушает ее читателю.

Я привел два примера того, как Аранович обращается с "фактами, основанными на цитатах". А вот образец того, как он, вопреки своим заверениям, высказывается как музыковед: в пределах одного абзаца вся характеристика величайшего из композиторов сводится к тому, что, во-первых, "он пользовался новыми приемами, украденными, в частности у Листа", во-вторых, "привел жанр оперы в тупик" и, в-третьих, лежащая в основе его опер "идея была сама по себе античеловеческая".

Верно, не Вагнер изобрел лейтмотивную систему, которую, очевидно, имеет в виду Аранович, обвиняя Вагнера в краже. Но она применялась и до Листа, который тоже "украл" ее у своих предшественников. Бетховен использовал многие при-

мы Моцарта, который, в свою очередь, нашел их готовыми у Гайдна. Композитор всегда использует завоевания своих предшественников, но он их совершенствует, обогащает, изменяет в соответствии с новым содержанием, и в этом его заслуга.

Что касается Вагнера, он вошел в историю как один из величайших новаторов, которому принадлежит исключительное место как подлинному создателю и теоретическому обоснователю системы лейтмотивов.

Я думаю, что Аранович лучше других знает, как велики заслуги Вагнера и в совершенствовании лейтмотивной системы, и в симфонизации оперной партитуры, и в утверждении принципов программности музыки, и в углублении философского, социального, психологического содержания оперного искусства, и в области гармонии, и в оперной мелодике, и в мастерстве сочетания выразительного и изобразительного начал в музыке.

Общепризнана истина, что одно из свидетельств величия Вагнера — его оперная реформа. Пусть его теория "музыкальной драмы" не лишена пороков, но как можно отрицать ее достоинства, на которых основана слава Вагнера как величайшего революционера в музыке?

Откройте любой справочник и вы найдете эту банальную истину. Пусть у Вагнера не было последователей. Но абсурдно утверждать, будто Вагнер привел жанр оперы в тупик. Наоборот, желанием вывести оперу из тупика поверхностной развлекательности и шаблонных форм вдохновлялся Вагнер в своей оперной реформе. Музыкальная драма Вагнера — прообраз оперы будущего, и, пожалуй, особое величие Вагнера в том, что у него нет последователей.

Или утверждение Арановича, будто лежащая в основе вагнеровских опер "идея была сама по себе античеловеческая".

Какую идею какой оперы он считает античеловеческой? Или он думает, что читатель настолько невежествен, что примет все это на веру?

Между тем, во всех своих операх Вагнер утверждает высокие идеалы добра и справедливости. Это характерно и для "Летучего голландца" с его тоской по идеальному, и для "Тан-

гейзера", где показан трагизм душевных метаний между чувственной страстью и сознанием нравственного долга, и для "Лоэнгрин", герой которого несет отвергнувшим его людям справедливость и любовь, и для тетралогии "Кольцо Нибелунгов", клеймящей власть золота и насилие, и для "Тристана и Изольды", этой вокально-симфонической поэмы о любви, и для "Нюрнбергских мейстерзингеров", прославляющих народ и искусство, и для "Парсифаля", где Вагнер воспел добродетель в образе нравственно-чистого юноши, живущего вне общества и свободного от всех его пороков.

Рассуждая о философии Вагнера, как "тенденции разрушения", наш автор не без основания, предвидит недоуменный вопрос читателя: "Каким же образом мог человек с такой философией написать "Смерть Изольды" и любовную сцену смерти Изольды?"

Тем поразительнее его ответ: "Вагнер даже не ставил себе целью написать сцену человеческой любви".

А вот свидетельства самого Вагнера, ясно говорящие о том, какую цель он ставил перед собой, создавая "Тристана и Изольду". Композитор назвал свою оперу "драмой любви"; приступая к работе над оперой, Вагнер писал Листу:

"Так как никогда я еще не изведал счастья любви, я хочу воздвигнуть этой самой прекрасной из всех моих грез памятник, в котором вдоволь насытится любовь". В пояснениях к опере Вагнер пишет: "Любовный напиток "зажигает пламя упоительной страсти в крови Тристана и Изольды... Отныне не было конца овладевшей ими неутолимой тоске, властной потребности делить между собой все радости и бедствия любви... Единственное, что продолжало жить в них обоих, — страстное, ненасытное, полное тоски стремление, неугасимое, вновь и вновь рождающееся вечное желание, жажда и томление... Смерть распахнула врата, закрывшие перед любящими путь к соединению. Над телом Тристана охватывает умирающую Изольду... счастье соединения навеки".

В своей статье Аранович пишет: "Вообще все, что связано с уничтожением в любой области, это обязательно связано с Вагнером". Но на каком основании? Неужели он не сознает, как фантастично звучит это обвинение. Думаю, и сам Аранович толком не знает, какая связь между Вагнером и "уничто-

жением в любой области". Или "Вагнер как комплексное явление представляет опасность для человеческого мышления". Но разве Аранович рассказал что-нибудь о Вагнере как о "комплексном явлении"? Ведь читатель, ровным счетом, ничего не узнал ни о мировоззрении Вагнера, в целом, ни о музыке Вагнера, ни о Вагнере — писателе, музыкальном критике, теоретике искусства.

Кульминацией откровений статьи является вопрос: "Были ли Вагнер музыкантом, и был ли он, вообще, человеком?"

Аранович уверяет нас, будто в самой Германии еще не решен вопрос, был ли Вагнер музыкантом и человеком. Вот появится второй том дневников жены композитора — и вопрос этот решится. Смею утверждать, что какие бы сенсации не содержали дневники жены Вагнера, он остается для нас, конечно же, человеком и, конечно же, музыкантом, причем, отличающимся от иных музыкантов, его хулителей, тем, что он гений.

Ниспровергая Вагнера, Аранович, разумеется, цитирует Ницше. Но, как и другие наши "ницшеанцы", он "забыл" сообщить читателю, что Ницше был страстным поклонником музыки Вагнера, что он долго не мог избавиться от ее чар, даже после того как разочаровался в своем кумире и обрушился на него с критикой. Что касается этой критики, то она была вызвана усилением индивидуалистических тенденций в философии Ницше. Это привело его к столкновению с идейной направленностью музыки Вагнера. Парадоксально, что именно ницшеанская критика Вагнера куда лучше, чем иные хвалебные интерпретации его музыки, свидетельствует о ее демократическом, гуманистическом содержании.

Свою критику Вагнера Ницше ведет с крайне индивидуалистических позиций элитарного искусства. Он видит в Вагнере выразителя вкусов толпы и осуждает его как представителя театрального искусства, якобы придуманного для черни.

Вот позиция Ницше: "В театре становишься толпой, стадом, женщиной, фарисеем, скотиной с голосом, покровителем искусства, идиотом, вагнерианцем". Ницше против усложненного психологизма музыки Вагнера, против ее романтического

мира неясных, смутных чувств, неопределенных, неуловимых движений души, хаотического состояния внутреннего мира человека.

Его раздражает то, что "пафос Вагнера овладевает чувствами слушателей, держит их в напряженном состоянии, заставляет их затаить дыхание". "Что мне за дело до драмы! На что мне корчи ее нравственных экстазов, в которых находит свое удовлетворение "народ"! "Как болезненно отдаются в наших ушах театральные крики страсти, как чужды нашему вкусу все романтические бредни, вся эта путаница чувств, которые так нравятся образованной черни с ее вожделениями к возвышенному".

Не правда ли, издеваясь над Вагнером, Ницше заодно расправляется со всей концепцией призвавшего его в свои свидетели Арановича — о зле, как главной характеристике музыки Вагнера. Ницше издевается над музыкой Вагнера за содержащееся в ней добро, Аранович — за зло, якобы присущее музыке Вагнера. Главное — опорочить Вагнера.

"Музыка Вагнера — цитирует он Ницше, — это яд, который одурманивает мозг". Между тем, истинный смысл этой цитаты может быть понят только в общем контексте ницшеанской критики музыки Вагнера. "Яд" — это те высмеиваемые Ницше "нравственные эстазы" и "путаница чувств", которые составляют именно силу Вагнера, но раздражают Ницше, как "декаденство", как желание угодить толпе с ее "вожделениями к возвышенному".

"Яд" — это отвергаемый Ницше вагнеровский мир экстатического состояния души, первозданного душевного хаоса, бессознательных порывов, смутных грез, зыбких движений души, мир, в котором Ницше видит воплощение начала "женственности", гипнотизирующего слушателя и поэтому якобы разлагающего его волю.

"Яд" — это гипертрофированная чувствительность Вагнеровской музыки, ее меланхолическая изысканность, невротическая болезненность, это и мистика Вагнера, и его шопенгауэрианство, его пессимизм, его поэзия смерти — все то, что так претило Ницше, этому проповеднику "веселой науки" идущего к власти сверхчеловека.

Что ж, мы, действительно, находим этот "яд" в музыке Вагнера, магически завораживающей слушателя и гипнотизирующей его чувства. Есть в музыке Вагнера и известная доля декаденства, в чем композитор и явился выразителем своей эпохи. Но эти качества музыки Вагнера, которые Ницше волен был отвергать, для нас столь же дороги, как и те достоинства, которых Ницше не хотел заметить.

Аранович пугает нас "ядом" музыки Вагнера и беспокоится, как бы этот "яд" не повредил нашему организму. Я не оговорился: именно забота о нашем здоровье и побудила Арановича обратиться к читателю с призывом: "Наша цель — как можно скорей избавиться от этого дурмана, пока он не разрушил наш организм". И далее продолжает: "Музыка Вагнера, безусловно, обладает свойствами наркотиков, но от наркотиков надо вылечиваться. И я думаю, что от музыки Вагнера нужно вылечиться".

Но любое подлинное искусство, тем более музыка, и в особенности, романтическая — это есть, своего рода, наркотик. В искусстве, говорит Шопенгауэр, мы забываем собственный индивидуум, забываем свою поработившую нас волю и, погружаясь в безвольное чистое созерцание, обретаем самозабвение.

Что касается "яда", одурманивающего мозг, то мы легко его обнаружим во всем романтическом искусстве — будь то музыка Вагнера или Шумана, рассказы Гофмана или По, стихи Верлена или Блока. Вопрос о том, каков этот мир вагнеровской музыки, который так одурманивающе действует на нас. Увы, сколько ни стараются убедить нас в том, что мир этот — зло, мы так и не можем понять, в чем конкретно это зло заключается.

По Арановичу, все просто: "Я думаю, что от музыки Вагнера тоже надо вылечиться". С какой завидной уверенностью он берет на себя роль верховного эстетического судьи, беспалляционно решающего, какую музыку следует нам слушать, а от какой нужно лечиться.

Я лично убежден, что лучше бы людям слушать Баха или Чайковского, чем поп-музыку, которая (и в этом я опять же

убежден) эстетически не только не развивает их, но даже возвращает. Но мое убеждение еще не дает мне права учить эстетическому уму-разуму тех, кто любит поп-музыку.

Неужели наш автор не понимает, что нельзя вылечить тех, кто выстрадал свою любовь к музыке Вагнера — разумеется, не по музыковедческим опусам типа статьи Арановича, а на незабываемых концертах. Попробуйте вылечите от музыки Вагнера человека, который так вспоминает концерты, на которых он ребенком впервые услышал Вагнера:

"Ничто не сравнится с очарованием первых впечатлений... Воспоминание о первом моем знакомстве с творчеством Вагнера. Какой волшебной тревогой оно меня пронизало! Все в нем было для меня тайной: новые звучания оркестра, тембры, ритмы, сюжеты; вся дикая поэзия далеких средних веков, варварских легенд и смутная лихорадка тоски и затаенных желаний... Я чувствовал себя охваченным сверхчеловеческими страстями. Чье-то мощное дыхание обновляло мое дыхание, наполняло меня радостью и скорбью, равно благотворными, ибо и те и другие дышали силой, а сила всегда есть радость. Мне казалось, что у меня вырвали мое детское сердце и заменили его сердцем героя". (Р.Роллан, "Вагнер").

Уверен, такого любителя музыки Вагнера уж Арановичу ни за что не удастся вылечить. В свое время нам советовали, причем довольно настойчиво, лечиться от любви к музыке Рахманинова, Скрябина, Шостаковича. И что же? Разлюбил ли этих композиторов тот, кто действительно их любил?

Есть в разбираемой статье один-единственный аргумент, имеющий прямое отношение к музыке Вагнера. Мы узнаем, что Аранович только тогда понял его музыку (и вылез из нее), когда, оказавшись в Германии, близко познакомился с оригинальными либретто его опер, которые он плохо знал по русскому переводу. Так вот, оказывается, в чем корень зла музыки Вагнера, — в либретто его опер! Увы, единственный в статье действительно музыковедческий аргумент, и тот оказывается несостоятельным. Аранович ничего не доказывает да и не может ничего доказать.

Как и в других случаях, он с большой помпой декларирует о своем открытии в области исследования либретто Вагнеровских опер. На деле же его открытие сводится лишь к двум

ссылкам, свидетельствующим об антисемитизме Вагнера: на оперу "Парсифаль", в которой, по словам композитора, представлена "идея фигуры Христа, которая очищена от еврейской крови", — идея, выраженная, по подсчетам самого Арановича, всего лишь в двух эпизодах оперы; да на образ карлика Миме в "Кольце Нибелунгов", якобы являющегося олицетворением еврейства.

Однако свое маленькое открытие Аранович преподносит под бурный аккомпанемент негодующего многословия, рассчитанного на то, чтобы эти несколько эпизодов представить как решающую характеристику всего творчества композитора. Аранович оглушает читателя нескончаемым потоком риторички, чтобы не дать ему опомниться и понять простую истину, что, за исключением этих эпизодов, в операх Вагнера — а их всего тринадцать — нет абсолютно ничего антисемитского.

"К сожалению, все эти тонкости практически неизвестны не только любителям музыки, но часто даже профессионалам-музыкантам", — рекламирует Аранович открытые им две антисемитские "тонкости" — так, словно, только узнав о них, мы и сможем по-настоящему судить о музыке великого композитора.

"Я хотел бы, — читаем мы в статье, — отослать сторонников и любителей музыки Вагнера у нас в стране к этим страницам партитуры и потом спросить их, хотят ли они что-либо подобное слушать со сцены в Израиле?"

Что ж, мы, действительно, не захотим слушать "эти страницы партитуры". Но почему бы нам не слушать, скажем, "Тангейзера" или "Тристана и Изольду", или "Лоэнгрина", или "Гибель богов"?

"Я хотел бы спросить у защитников Вагнера, — с тем же пафосом продолжает Аранович, — знают ли они об этом? И те, кто знает, хотят ли они слушать его произведения?" Вот так Аранович под шумок дешевой риторички превратил "эти страницы партитуры" в произведения Вагнера, в целом. Вот и выходит, что не одного "Парсифаля" не должны мы слушать, а все тринадцать опер Вагнера, все его симфонические, фортепианные и вокальные произведения.

Нас пытаются убедить, что вся музыка Вагнера носит антисемитский характер, что едва ли не основной целью его творческой деятельности была борьба с ненавистными ему евреями. При этом Аранович пытается сослаться на "факты, основанные на цитатах самого Вагнера". Но как он цитирует!

Он приводит слова Вагнера, сказанные им в ответной речи на праздновании его 68-летия: "Моя дирижерская палочка еще много раз будет показывать грядущим поколениям, на какой путь они должны стать". Казалось бы, говоря так, Вагнер имел в виду только одно, а именно: новаторский характер своей музыки, в которой он хотел видеть основу для дальнейшего развития музыкального искусства. Но Аранович пускается в не имеющие никакого отношения к речи Вагнера спекулятивные рассуждения на тему о том, каким же действительно был путь, на который Вагнер направлял последующие поколения? Оказывается, "первая и главная цель" Вагнера — "освобождение человечества от евреев".

Не касаясь того, что при всем своем антисемитизме Вагнер отнюдь не считал своей главной целью освобождение человечества от евреев (это "освобождение" не входило, вообще, в творческие задачи композитора), — Вагнер не говорил и не мог говорить об этом на торжестве, посвященном его творчеству.

Между тем, после спекуляций о "первой и главной цели" Вагнера следует цитата: "... евреи — как мухи и крысы: чем больше вы их уничтожаете, тем больше они плодятся. Не существует никакого средства, кроме тотального уничтожения". Но ведь и цитата — не из речи Вагнера и тоже не имеет никакого отношения к его размышлениям о будущем.

Так к чему цитировать речь Вагнера на торжестве, посвященном его 68-летию? К чему его слова о том, что его дирижерская палочка будет указывать путь грядущим поколениям? Очень просто: подтасовкой цитат Аранович пытается придать словам нужный ему смысл, будто к уничтожению евреев Вагнер призывал не где-нибудь в частном письме, а всем своим творчеством, будто уничтожение евреев и есть тот путь, на который он направлял будущие поколения музыкантов.

Итак, на протяжении всей статьи Аранович доказывает нам: Вагнер — проповедник зла и разрушения; Вагнер — опасность для человеческого мышления; Вагнер — музыкальный террорист; музыка Вагнера — это яд; главный источник вдохновения Вагнера — антисемитизм; основная идея Вагнеровских опер — античеловеческая; Вагнер — заурядный композитор, укравший свои приемы у Листа; Вагнер — вообще, не музыкант и даже не человек... И вдруг сюрприз: в конце статьи неожиданно мы узнаем, что Вагнер — гений. Читатель не ожидал такого оборота. Можно ли принимать всерьез рассуждения Арановича, на одной странице выражающего сомнение, был ли Вагнер вообще музыкантом, а на другой — признающего Вагнера гениальным композитором? Но главное: признание Арановичем гениальности Вагнера явно противоречит всей концепции о зле как главной характеристике музыки Вагнера.

Гений и зло? Пусть вопреки Пушкину, гений и не застрахован от злодейских поступков. Но зло как цель творческой деятельности гения? Трудно придумать более веский аргумент против всей концепции Арановича, чем тот, который предлагает он сам.

Впрочем, предвидя упреки в противоречиях, он готов отразить их: "Никто ни в коем случае не отказывает Вагнеру в музыкальном даровании, которое очень велико. Но мы знаем также такие определения, как "злой дух" или "злой гений". Вот и Вагнер, решил Аранович, злой гений. "В истории есть немало таких примеров: Ленин — еще один злой гений".

Не успели мы переварить открытую Арановичем теорию "музыкального терроризма", как он уже предлагает нам еще одну новоиспеченную концепцию о "злых духах" и "злых гениях".

В какой энциклопедии, в каком философском словаре Аранович отыскал эти "определения"?

Понятия "злой дух", как и "злой гений" — не более чем художественная метафора, не имеющая никакого отношения ни к духу, ни к гению как таковому.

Что такое "злой гений"? Не иначе, как гений, сознательно творящий зло. Но это же абсурд. История знает немало имен,

по-своему гениальных личностей, которые занимались тем, что творили зло: Александр Македонский, Цезарь, Наполеон. Но это гениальные полководцы, и только. В нашем контексте речь идет о творце духовных ценностей. Гений в этом смысле — это человек, вдохновляющийся высшими интересами истины и добра, открывающий людям смысл их существования.

История искусства знает немало злых посредственностей, но не знает ни одного злого гения.

Замечательное свидетельство о гении как воплощении духовного начала содержится в современной аксиологии — науке о ценностях. Так, философом-аксиологом предложена своеобразная иерархия духовных ценностей, условно воплощенных в соответствующих типах личностей. Гений в этой иерархии стоит на втором месте после святого (святой, гений, духовный вождь, герой, художник). Разумеется, речь идет об одном гении — добром.

Найдется ли поэт, который бы заслужил эпитет "певец зла" больше, чем Бодлер? Но несомненно, Бодлер потому и мог в "Цветях зла" создать подлинный шедевр поэзии, что он "жил во зле, добро творя", вдохновляясь, как бы низко он не пал, возвышенными идеалами.

Зло не способно породить ничего, кроме резонерства и иллюстративности, не имеющих ничего общего с подлинным искусством.

Ничто так не совместимо со злом, как музыка.

В литературе или изобразительном искусстве содержание и форма — это двуединая стихия, в которой каждый из двух ее элементов может быть воспринят в отдельности.

Музыкальный звук, по словам Гегеля, "принадлежит идеальной, духовной сфере времени", и поэтому в нем нет разделения внутреннего, духовного содержания и внешнего телесного облика. Наше ухо не могло бы слушать музыку, выражающую зло, ибо — в силу нераздельности содержания и формы — зло в музыке не может быть выражено иначе, как обыкновенным неблагозвучием. Конечно, в музыкальном произведении возможны и диссонансы, дисгармония. Но они потому и ощущаются нашим ухом, что выступают на фоне гармонии. Вот почему само выражение зла в музыке может воспри-

ниматься лишь как осуждение зла. Музыка, в силу своей специфики, просто ограничена в своих возможностях выражать бесчеловечное и безобразное, это запретная для нее область (как сказано, "девушка может петь о потерянной любви, но скряга не может петь о потерянных деньгах").

Есть что-то недостойное в рассуждениях Арановича о гениях в которых он с высоты своего дирижерского величия видит недочеловеков. Должно притупиться чувство элементарного нравственного такта, чтобы рассуждать, как рассуждает Аранович о "злых гениях" — Вагнере и Ленине.

"Если бы такое незаурядное явление, как Ленин, было направлено на добро", — тоном признанного специалиста по вопросам добра и зла философствует Аранович. Но что значит "направлено на добро"? И как он при этом не сознает, что и Ленин, по-своему, стремился к добру, руководствовался идеей социализма, которая на протяжении веков вдохновляла самые благородные умы человечества. Будучи моральным релятивистом, он, как и все революционеры, верил, что высокая цель оправдывает низменные средства, что революционное насилие — историческая необходимость и в силу этого зло будет превращено в добро. В этом трагедия Ленина, трагедия идеи социализма, которая оказалась неосуществимой.

С каким пафосом борца за добро клеймит Аранович "злого гения" Вагнера. Но следует ли он сам своему моральному императиву? Статья Арановича о Вагнере — разве это добро? А его утверждение, что Вагнер — "первый музыкальный террорист" и "автор теории музыкального терроризма", — разве это добро? Не может говорить от имени добра человек, следующими словами заканчивающий свою статью: "Я думаю, что, несмотря на все, что сделал Вагнер, лучше бы ему не родиться".

Лучшее свидетельство несостоятельности антивагнеровской концепции — литературное творчество Вагнера-писателя, музыкального критика, теоретика искусства.

Вагнер разделял общее для романтиков — будь то писатели Гюго или Гофман, живописцы Делякруа или Кипренский, композиторы Шуман или Лист — возвышенное представление

о художнике-творце, как носителе идеала, противостоящем реальному миру зла. По Вагнеру, искусство не отделимо от свободы: "Истинное искусство есть высшая свобода, и только высшая свобода может провозгласить его". Вагнер мечтал о новом искусстве, которое будет выражать дух свободного и объединенного человечества:

"Если произведение искусства греков воплощало в себе дух прекрасной нации, то художественное произведение будущего должно заключать в себе дух всего свободного человечества вне всяких национальных границ".

"Сердце выражает себя при помощи звуков, — писал композитор, — его сознательным художественным языком является музыка". Музыка, по словам Вагнера, "по своей природе является непосредственным языком сердца".

"Как чистая, освобожденная от всякой предметности форма, — говорит далее Вагнер о музыке, — она, словно, закрывает нам весь внешний мир, заставляя нас смотреть исключительно в наш внутренний мир, а вместе с тем и во внутренний мир всех вещей".

"Я не могу видеть сущность музыки ни в чем ином, кроме любви. Исполненный ее святого могущества, я, с увеличенной зоркостью проникновения в человеческую жизнь, узрел перед собой не ее формальную сторону, подлежащую критике. Сквозь покров внешней оболочки, силой симпатической чуткости я уловил потребность любви, угнетенную бессердечным формализмом человеческих отношений".

Может быть, я тенденциозно подобрал цитаты? Пусть Аранович укажет на одну фразу в том или ином литературном произведении Вагнера, в котором говорилось бы о зле, как содержании жизни.

Самое удивительное в статье Юрия Арановича то, что посвященная музыке, она ни единым словом не дает нам почувствовать, что речь идет именно о музыке. Автор много толкует о зле вагнеровской музыки, о ее терроризме и бесчеловечности, но эти и подобные определения воспринимаются лишь как безжизненные абстракции, лишенные плоти и крови живого искусства.

Все это рассудочные категории, далекие от музыкального мира, в который мы потому и устремляемся с таким блажен-

ством, что все в нем исполнено не поддающегося рассудочному объяснению очарования. Что общего между этим волшебным миром и умозрительными построениями автора?

Музыка — это особый мир, мир, отвлеченный от всего предметно-вещественного, мир, доступный лишь внутреннему взору.

В оценке живописи или, скажем, поэзии наше эстетическое чувство проходит сложное испытание нашей способностью мыслить и воображать, нашим духовным развитием и опытом. Мы не можем назвать эстетическую "инстанцию", от имени которой мы судим о картине или поэме. В музыке есть эта инстанция — слух.

Стоит слуху замереть под воздействием музыкальных звуков — и наша душа без помощи мысли и воображения устремляется навстречу идеальному миру, открывающемуся ей в этих звуках. Она точно не знает даже, о чем говорят ей эти звуки, но знает, что они удовлетворяют ее тоску по совершенству, помогают вырваться из плена материального и конечно-го, чтобы приобщиться к идеальному и вечному. И судя по тому, как устремившись к прекрасному, томится встревоженная музыкой душа, мы знаем, что поняли музыку.

Наше восприятие, скажем, "Гамлета" Шекспира или картины Беклина "Остров мертвых" — сложный духовный акт, в котором наше художественное чутье, каким бы оно ни было развитым, слишком "безымянно", "анонимно", чтобы стать главным критерием нашего понимания Шекспира или Беклина.

Слушая "Гамлета" Листа или Чайковского, или "Остров мертвых" Рахманинова, мы с первых же тактов бессознательно поддаемся очарованию звуков, которые посредством слуха проникают в душу и потрясают нас, независимо от того, подготовлены ли мы к пониманию Шекспира или Беклина, знаем ли содержание музыки, которую слушаем.

Тому, кто умеет слушать музыку, вся антивагнеровская концепция Арановича представляется мертворожденной, не имеющего ничего общего с музыкой. Одно из двух: или раньше слух у Арановича был не в порядке, или он теперь испор-

тился. Или же автор статьи хочет нас убедить, что для понимания музыки Вагнера, вообще, не нужен слух: достаточно прочитать второй том дневников его жены и будет "решен вопрос — кто такой Рихард Вагнер".

Впрочем, одна правда в статье Арановича — правда об антисемитизме Вагнера. Старая правда. Аранович добавил к ней несколько деталей, представив их как сенсационное открытие, которое, по его убеждению, должно дискредитировать музыку великого композитора. Но напрасно наш автор рассчитывает своим рассказом о Вагнере-антисемите восстановить нас против его музыки. Можно понять человека, который отказывается читать Гоголя из-за его антисемитизма. Я знаю человека, который, прочитав статью Достоевского о "еврейском вопросе", заявил, что Достоевский для него больше не гений. Есть и такие, которые не хотят знать о Гете и Шиллере, якобы ответственных за преступления нацистов.

Пускай Аранович не может слушать музыку Вагнера-антисемита. Признаем его субъективную правду, она не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежит объективная правда о музыке Вагнера, которая не имеет ничего общего с эмоциями оскорбленного национального достоинства, какими бы искренними они ни были. Эту правду о музыке Вагнера нельзя не признать. Абсурдно ее отрицать. Какой бы страшной ни была правда об антисемитизме Вагнера, сама по себе она не может служить аргументом в наших суждениях о его музыке.

Антисемитизм — не та муза, которая может вдохновить великого художника. Истинный художник не может вдохновляться ненавистью. Именно поэтому Вагнер и создал гениальные произведения, что как композитор вдохновлялся возвышенными порывами своей души.

Даже в самые мрачные годы сталинского террора, когда не только мировоззрение, но и творчество Достоевского было объявлено реакционным, его произведения продолжали издаваться. А ведь антисоциализм Достоевского представляет для коммунистических властей даже больший грех, чем для нас антисемитизм Вагнера. Но и в сталинские годы произведения Достоевского осознавались как бессмертные творения гения.

Не говоря уже о Толстом, для обоснования величия которого пришлось выдумать целую теорию противоречий между гениальным художником и реакционным мыслителем.

Для тех, кто равнодушен к музыке, Вагнер — только антисемит. Для тех же, кто любит музыку, он, прежде всего, гениальный композитор. Музыка Вагнера так прекрасна, что думается: ею он искупил антисемитизм. Музыка Вагнера торжествует над его антисемитизмом.

Будь Вагнер жив, наш долг был бы бойкотировать его концерты в знак протеста против его ненависти к евреям. Но Вагнера-антисемита нет в живых, и абсурдно его бойкотировать.

Жива музыка великого композитора. Она живет своей обособленной, отчужденной от своего творца жизнью. Она не принадлежит уже Вагнеру, она принадлежит нам. Его музыка стала достоянием человечества. Она — достояние и нашего народа. Наказывая музыку Вагнера, мы наказываем сами себя.



ПОЭЗИЯ И ОБЛИК ИСТИНЫ

ИНТЕРВЬЮ ЕФИМА ЭТКИНДА, ДАННОЕ ГАЗЕТЕ
"КНИЖЕВНА РЕУ" (БЕЛГРАД)

— *Зачем вы написали книгу "Записки незаговорщика"?*

— Книгу "Записки незаговорщика" я написал вскоре после того, как приехал во Францию, в 1975-1976 годах. Вы спрашиваете, зачем я ее написал? В самом деле, до того я писал книги по своей специальности: по теории поэзии, по истории и теории перевода, по сопоставительной стилистике, по современной драматургии. Это было моей первой книгой "о жизни" и, значит, о политике. Причин несколько.

Первая: я хотел рассказать о своем опыте взаимоотношений с советским режимом — рассказать без фантазии, без особых эмоций, но мой рассказ все равно оказался фантастическим. Почему вдруг все дружно стали выгонять меня отовсюду? Причины никогда не приводились, но машина действовала сама по себе. Удивительная машина! Я хотел, чтобы читатели вдумались в ее функционирование. Я хотел, чтобы люди, читая это скромное повествование — без ужасов, без пыток, без казней — поняли, что советская действительность гораздо фантастичнее романов Уэллса или Исаака Азимова.

Вторая: в моем деле участвовали не только наемные "палачи", но и обыкновенные, нейтральные коллеги; большинство из них вело себя пристойно, но было и много таких, которые, заботясь о своей карьере, выступали с обвинительными речами по поводу меня, прекрасно зная, что они несут околесицу. Я хотел предать их поведение, их предательство гласности; ведь большинство подлостей делается в надежде на всеобщее молчание. Я добился того, чего хотел: ни один из моих "обвинителей" с тех пор не решился приехать во Францию — бояться, и не только меня, но и читателей моей книги. Это относится, например, к поэту Дудину, к критику В.Н.Орлову, недавно умершему (он сделал много очень полезного, но от подлостей удержаться не смог!), к лингвисту Домашневу, к некоторым моим ученикам.

Третья: иностранные интеллигенты, в частности западные коммунисты, склонны идеализировать советскую действительность, ничего в ней не понимая. Действительность эта сложная, не однозначно-дурная. Но понимать ее без прикрас необходимо. Надо знать, какую роль в жизни людей играет страх, надо понимать феноменальную степень бесправия советских людей, обреченных на тотальную зависимость от государства-монополиста. Все это я хотел дать понять моим западным коллегам.

Четвертая: принято считать, что в Советском Союзе жить нелегко, но что это все же вариант социализма, то-есть что советские коммунисты — люди левого толка. Весь смысл моей книги заключается в том, что в СССР господствует самая ярко выраженная правая диктатура, которая для обычного камуфляжа вот уже много десятилетий обманывает мировое общественное мнение левой фразеологией.

— *Эпиграфом к вашей книге стоит четверостишие Анны Ахматовой: "Нет, и под чуждым небосводом..." Вы относите его и к себе?*

— Да, четверостишие Анны Ахматовой относится и ко мне, — потому я и поставил его эпиграфом к моей книге о моем изгнании из России. Вы спрашиваете: почему я принужден был покинуть свою страну? Потому что меня: выгнали с пре-

подавательской работы в педагогическом институте, где я читал лекции в течение 23-х лет; исключили из Союза писателей (в тот же день запретили всем издательствам, журналам, газетам не только меня печатать, но и упоминать мое имя), изъяли из всех библиотек все мои книги и даже книги с моим участием или даже просто мною переведенные. Последнее особенно интересно и для советской власти характерно: так, я перевел несколько пьес Б.Брехта и множество его стихотворений; все это цитируют, даже в газетах, но меня упоминать нельзя. За все двенадцать лет, что я живу на Западе, в Москве вышла только одна книга, где случайно несколько раз проскочило мое имя: это книга очерков о немецких поэтах (ее автор — А.И.Дейч), где цитаты из Гельдерлина снабжены примечанием: "Перевод Е.Эткинда". Мог ли я остаться при таких условиях? Ведь мне надо было о многом еще написать. Я историк и теоретик литературы, и обрекать себя на молчание мне было рано (да и теперь — рано. Есть еще идеи, и хочется их развить на бумаге...)

Впрочем, я сделал все, что мог, чтобы остаться дома: я считал своим долгом бороться за свои и своих единомышленников права на своей родине, а не на чужбине, где говорить легче, но найти слушателей гораздо труднее. К тому же одно слово, сказанное дома, весит во много раз больше, чем целая речь, произнесенная на Западе. Так вот, я выразил желание стать, например, шофером такси. Круглова, секретарь ленинградского обкома, сказала мне: "Что вы, разве можно! Ведь вы известный профессор! Это будет расценено как антисоветский поступок..."

— *Чем для вас является поэзия?*

— Соединением слов и музыки, способным выразить внешними средствами внутренний мир человека. Этот абсолютно индивидуальный, единственный, субъективный мир благодаря поэзии приобретает общезначимый характер. В поэзии мне дорого и ее субъективное существо, и ее объединяющая роль. В нашем безбожном двадцатом веке поэзия приняла на себя функцию, которую в прошлом несла религия. Меня давно волнует вопрос: может ли поэзия лгать? Наверно, все-таки — хоть

это и противоестественно — может. Но ведь и религия лгала, не говоря уж о церкви... И все же поэзия — форма бытия правды.

— *Почему руководители СССР боятся стихов?*

— Поэзии вожди Советского Союза боятся, потому что она объединяет. Они же усвоили уверенность, что объединять советских людей должны только "идеи коммунизма" и, во всяком случае, лозунги партии. Выходит, что поэзия конкурирует с партией и с ее идеологией. Этого терпеть нельзя. К тому же непонятно, о чем они говорят, эти поэты; нагромождают какие-то загадки, а молодежь делает вид, что этими невнятистями увлечена. Это — как и с абстрактной живописью: чего они хотят, авторы этих загадочных картин? Лучше запретить. В стихах действительно можно многое сказать, что было бы запрещено в прозе. Среди стихов Заболоцкого есть "Казбек" — о кавказской горе, но в то же время и о Сталине: ледяная громада, презирающая все, что у ее подножья. Может ли цензура запретить стихи о горе и ледниках? И, в то же время, нельзя и не запретить. Перед стихами цензура часто оказывается в дураках. Поэтическая метафора многосмысленна и тем опасна. Этим нередко пользуются переводчики стихов: они в классическую поэзию вкладывают злободневный смысл; так поступал Пастернак, переводя Шекспира и Гете на самый современный русский язык.

— *Чем для писателя является язык?*

— Язык для литератора — это не только орудие его труда, но и его воздух, его стихия, его почва. Без языка он перестает быть собой. Теперь часто говорят о двуязычных писателях, — не верю. Можно писать на нескольких языках, но творческим языком остается один. Среди русских поэтов многие знали французский с детства; однако, если судить по французским стихам, которые писали Пушкин, Лермонтов, Тютчев, ни один из них не поднимается выше средне-банального уровня, какого-нибудь Франсуа Коппе. А Лермонтов — русский поэт — настолько выше Франсуа Коппе, что смешно даже рядом ставить эти имена. Пушкин писал письма по-французски, но в каждой из его русских фраз дышит гений, а французский язык Пуш-

кина корректен, даже блестящ, но это светская или официальная беседа, не более. Рильке писал французские стихи, ему даже самому они нравились, но где в них Рильке? Скажут, Набоков. Да. Набоков был двуязычен, и в то же время безъязычен, потому что живой язык улицы или деревни ему был начисто неведом. Его интересные стихи написаны на великолепном музейном языке. Изгнание дарует свободу от тирании, от цензуры, но и отнимает возможность участвовать в ежедневном созидании языка. Я помню хорошо тот русский, который я увез с собой, но там, в России, школьники, журналисты, колхозники, солдаты уже говорят с другими сравнениями, присказками, восклицаниями восторга и ненависти, чем десятилетие назад. Я в этой языковой эволюции не участвовал. Как чувствуется недостаток живой речи у Бунина, лучшего стилиста нашего века, прожившего в эмиграции более тридцати лет! Да, я пишу на трех языках — но это ничего не значит. Французы и немцы меня хвалят снисходительно. Иначе не может быть. Изгнание — это и блеск, и нищета. Счастье и проклятье.

— *Можно ли говорить о духовной жизни в стране, где "издатель боится всякой новой книги писателя, как солдат боится нераззорвавшейся бомбы"?*

— Можно. Несмотря на этот всюду царящий страх, духовная жизнь в Советском Союзе очень напряженная. Прежде всего, интеллектуальная энергия не пропадает (вспомним закон сохранения энергии). Тот молодой человек, который мог бы при подходящих обстоятельствах стать генералом Бонапартом, в Советской России, где его в армии затоптали бы за чрезмерную самостоятельность мысли, стал бы шахматистом. Кстати, поэтому в России так много гроссмейстеров; может быть, в иных условиях Каспаров стал бы министром или генералом. А Лоран Фабиус, самый молодой премьер Франции, в СССР играл бы в шахматы. Литературная энергия, неиспользованная в оригинальном творчестве, ушла в перевод — нигде нет таких блестящих переводчиков стихов и прозы, как в России. Стать композитором в СССР трудно, нельзя пробить консервативность советских начальников; поэтому музыкальный

гений ушел в исполнительство. Рихтер, Гиллельс, Ойстрах, Софроницкий — где еще так много великих исполнителей? Ведь и Ростропович рожден советской консерваторией. В других странах много умственных и даже духовных сил уходит на политику, на социальную борьбу, на философские дискуссии, на осмысление современности; все это в России невозможно, все это под запретом. Но стихи писать можно — особенно если о прошлом, или, казалось бы, о природе, даже о любви, именно стихи, а не прозу, — проза слишком понятна, каждый секретарь райкома понимает, подходящие у автора мысли или нет. Происходит сублимация — главное, это закон сохранения энергии, который действует в общественной и духовной сфере так же, как в физической.

— *Понимают ли те, кто участвует в гражданской казни, свое трагическое положение, — или им все равно?*

— Конечно, все понимают, что они участники мерзкого спектакля. В наше время не осталось ни одного сколько-нибудь разумного человека, который бы считал, что ради строительства коммунизма надо раздавить очередного (придуманного) врага, — а ведь таких верующих в тридцатые годы было немало. Зачем же теперь участвуют в пакостях и моральных убийствах? Некоторые из простого страха: "Если я уклонюсь, со мной могут сделать то же, что сегодня делают с ним..." Другие — из шкурного интереса: начальство обещало квартиру или автомобиль без очереди, или путевку, или командировку за границу, или повышение в должности... "Если я встану и скажу, что думаю, то коллеге я не помогу, а себя погублю". Впрочем, нечто подобное наблюдается всюду в мире. В последнее время во Франции насилуют девушек в людных местах — на станции метро, в вагоне поезда, на людном бульваре, — никто не заступает, даже не зовет полицию. Почему? "Ей не помогу, а себя могу погубить". Кажется, прежде люди были активнее — у них было понятие Чести. Не заступиться за жертву травли или насилия — это бесчестие. Или другой вариант: Совесть. В сегодняшнем мире — и на Востоке, и на Западе — утрачены понятия Чести и Совести. Но на Западе есть хоть некоторые гарантии в виде законодательства, защищающего

права человека, или профсоюз, или свободная пресса. На Востоке ни одной из этих гарантий нет, права личности полностью во власти государства, которое во власти партии.

— *Расскажите о трагической судьбе формалистов и о структурализме, который появился через тридцать-сорок лет.*

— Почему партия обрушилась на формалистов, изучавших литературную форму, не трогая советскую власть? Вероятно, потому, что формалисты нарушали партийную монополию на истолкование идеологических явлений. Они заявляли, что их не интересует, "какой флаг развевается над крепостью". (Шкловский). Этого партийные критики стерпеть не могли — ведь это означало независимость литературы от цензурных чиновников. Формалистов надо было разогнать. Но их судьбы оказались менее страшными, чем потом судьбы других "инакомыслящих" — их не погубили физически, а просто заставили капитулировать и заняться другими делами. Это и произошло. Шкловский стал писать киносценарии, Эйхенбаум и Томашевский занялись текстологией и академической историей литературы, Жирмунский — лингвистикой, Тынянов стал писать исторические романы и переводить стихи Гейне, Р.Якобсон эмигрировал. Через несколько десятилетий все формалистические идеи и принципы возродились в движении структурализма и семиотики; времена изменились, никто теперь не боялся "науки для науки", тем более, что теория информации, кибернетика, всякая математизация гуманитарных наук была в моде. Неоформалисты могли почти спокойно выпускать книги и журналы, лишь бы они не произносили слов, когда-то осужденных критикой как формалистические. Достаточно было заменить слово "форма" словом "структура", чтобы реакционное направление стало прогрессивным.

— *Почему русские люди не бунтовали и покорно выполняли требования начальства?*

— Террор тридцатых годов, а потом и послевоенных сороковых-пятидесятых годов истребил множество людей, среди них — самых честных и храбрых. При этом террор отличался поразительной неадекватностью: за мимоходом рассказанный смешной анекдот можно было получить от десяти до двадца-

ти лет лагерей или, раньше, расстрел. Открытое выступление против партии или какого-то ее решения грозило не менее, чем многолетним лагерем или смертью. Всякий "бунт" был заранее обречен на поражение: партия обладала монополией власти. Против монопольной власти бунтовать нельзя. Всюду, где происходят восстания, есть хоть какие-то независимые островки: церковь, профсоюзы, печать, университеты, другие партии, рынок, армия. В таких тиранических странах, как Чили, ЮАР, Польша, Турция, оппозиция может опереться на армию или церковь, на синдикальное движение или международные экономические связи рынка. В СССР нет этих "островков"; здесь невозможна ни забастовка, ни демонстрация, ни статья в газете, ни проповедь с амвона. В лучшем случае удаётся иногда что-то сказать в надгробной речи на гражданской панихиде или "эзоповым языком" на писательском собрании. Но какой же это бунт? Повторяю: в условиях тоталитаризма бунтов быть не может. В Германии 20-е июля 1944 года могло произойти потому, что армия сохраняла известную свободу от партии. В СССР этого нет.

— *Думаете ли вы, что когда-нибудь в СССР будет демократия и будут открыты границы с другими странами?*

— Партии гораздо проще (и, разумеется, привычнее) осуществлять свою диктатуру, когда никакие демократические излишества ей не мешают. Сам по себе Верховный Совет не имеет значения, как и Верховный Суд или советские профсоюзы. Но насколько труднее будет управлять и навязывать свою волю, когда даже эти "декоративные" учреждения окажутся свободно выборными! Внутри партии тоже нет и тени демократии, — Политбюро никто из членов КПСС не выбирает, оно назначает себя само или подчиняется захватившему безраздельную власть генсеку. А если представить себе новый порядок, при котором семнадцать миллионов нынешних партийцев будет и в самом деле выбирать руководство? Скорее всего, в ЦК и Политбюро попадут другие, не соответствующие спискам начальства. Так что партия будет энергично сопротивляться демократизации страны, как сопротивлялось бы командование любой армии солдатскому самоуправлению. А

коммунистическая партия построена по принципу армии, и вслед за нею по тому же военному образцу организовано все общество.

И все же я не сомневаюсь в том, что демократизация пробьет себе путь, и даже довольно скоро. Советская экономика переживает стагнацию. По существу, развивается только военная промышленность — за счет, главным образом, шпионажа (который оказался выгоднее самостоятельного изобретательства — просто дешевле!). Экономическая катастрофа неминуема. То, как сейчас живет население СССР, на Западе уже давно считалось бы наступившей катастрофой. Но ведь критерии разные: парижане роптали бы, если бы нельзя было купить двенадцать сортов кофе в зернах; москвичи не верят своим глазам, когда в продаже появляется два сорта, или когда в продаже есть колбаса. А в городе Калуге колбасы вообще не бывает, кофе, тем более. Все же население надо будет кормить, и рано или поздно страна пойдет по пути, разработанному для Китая Дзэнь Сяопином: к НЭПу, приспособленному к нынешним условиям. Не сомневаюсь, что такой НЭП входит в намерения нового руководства. Оно не может не понимать, что освобождение рынка — хотя бы частичное — есть единственная гарантия экономического будущего.

Свободный рынок — даже ограниченно свободный — влечет за собой другие свободы. Например, свободу издательского предпринимательства: рождаются десятки мелких кооперативных издательств, журналов, газет, даже радиостанций. Цензура будет продолжать действовать, но ей придется уточнить свои требования — перечислить и даже мотивировать запреты. Много издательств, а значит и разные вкусы, сначала чисто эстетические, потом и другие; возникнут дискуссии, разные решения. Так родится плюрализм, столь ненавистный и советской власти, и порожденной ею националистической оппозиции. От плюрализма же до республики ведет прямая дорога, пусть и далекая.

Нео-НЭП лет за пять позволит России удовлетворить главные потребности населения: в жилье, пище, одежде, автомобилях, зрелищах. При таких обстоятельствах не будет надобно-

сти держать границу на замке. Из сравнительно благополучной и свободной, сытой и гарантирующей элементарную безопасность России мало кто захочет эмигрировать: будут уезжать и возвращаться, как всюду в мире. Перемены, о которых я говорю и которые начнутся с освобождения рынка, неизбежны — я в них не только верю, но и убежден в их скором наступлении, — тем более, что консервативным старикам уже пришлось уступить свои посты гораздо более открытым и разумным людям другого поколения.

— *"Страх перед вышестоящими и тирания относительно низших" — это сочетание вырабатывается в каждом современном "феодале"?*

— Конечно. Это связанные друг с другом черты. "Феодал" знает, что он может себе позволить многое относительно своих подчиненных, и умеет остаться безнаказанным. Если он это знает про самого себя, то он понимает и то, что его начальник столь же свободен быть деспотом по отношению к нему самому, оставаясь тоже безнаказанным. На этой цепочке "тирания-рабство-тирания" держится советский режим. Если бы право действовало хотя бы в одном звене, оно одержало бы общую победу. Но права нет. Недавние исследования показали, что американское общество (в отличие, например, от французского) целиком основано на принципе права, причем право пересматривается каждый раз по отношению к каждому нестандартному случаю. Это и есть альтернатива советскому режиму. Мы не ждем такого радикального решения, мы стремимся к хотя бы минимальному функционированию права на малом, даже изолированном участке. Отсюда пойдут ростки в других направлениях.

— *Почему советский режим изгоняет своих граждан (Ростропович, Любимов, Некрасов, Бродский, Солженицын, Синявский, Тарковский?)*

— Лучшие — это ведь значит не только самые одаренные в своей области, но и непременно самостоятельно мыслящие, непокорные, неуправляемые, обладающие собственной эстетикой и даже собственным мировоззрением. Все это советскому режиму вредно, опасно. У Любимова своя идея театра, у Тар-

ковского своя концепция кино, — независимо даже от политических взглядов каждого из перечисленных. А для властей СССР плюрализм в любой области — убийственен. Обычно такие люди знамениты, дать им лагерный срок неловко. Отправить на Запад проще, — пусть там чахнут от ностальгии.

— *Вы писали: "Сегодня у нас произвол ограничен международной общественностью". Спасло ли это вас?*

— Да, конечно. В моем случае было видно, что тихая, незаметная расправа невозможна: я принял меры для того, чтобы западные университеты были информированы о моем деле. В результате посыпались приглашения от университетов Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, США; обычно реальных вакансий не было — было стремление помочь. Но несколько все же было. Если бы мой случай не приобрел широкой огласки на Западе, меня, может быть, подвергли бы фарсу "суда" и лет на пять закатали в лагерь. Западу не следует об этом забывать: вмешательство мировой общественности часто спасительно. Иногда оно вынуждает советский режим откровенно передергивать. Так талантливый молодой ученый К.М.Азадовский, арестованный за многочисленные исследовательские публикации на Западе (никакого отношения к политике не имеющие, но — без разрешения!), был обвинен... в хранении наркотиков (которые ему подложили кагебисты во время обыска). Против такого обвинения протестовать из заграницы нелегко, а все равно надо!

— *Расскажите о творчестве Иосифа Бродского.*

— Это — один из самых талантливых современных поэтов. Его отличает связь с классической традицией: не знаю другого поэта нашего времени, у которого был бы такой же богатый репертуар строфики, как у Бродского; в отношении метрических принципов он тоже консерватор. Но его метафорическая образность, его интонация и "поэтическая метафизичность" необыкновенно современны. Он вобрал в себя опыт Мандельштама и Цветаевой и таких поэтов Запада, как Элиот, Оден, Иейтс, Милош, Рильке. Соединение всех этих элементов в одном очень гармоничном поэтическом мире — единственное в нынешней поэзии.

— *Убеждены ли вы в том, что прозаический перевод стихов невозможен?*

— Я в самом деле считаю, что перевод стихов возможен только стихами. Перевод прозой игнорирует архитеконику произведения, его строфическую или астрофическую структуру, и, разрушая форму, уничтожает содержание, лишает вещь смысла ее существования (я привожу в качестве примера телефон с обрезанным шнуром или водопроводный кран, заткнутый пробкой, — предметы, лишённые функции). До сих пор французы, как правило, переводили стихи прозой. Я постарался перебороть эту тенденцию. Первый мой опыт — перевод поэтических произведений Пушкина (два тома, изд-во "Л'Аж д'ом", 1981). Над переводами из Пушкина работала группа в десять-двенадцать человек; мы регулярно собирались и коллективно обсуждали переводы, исполненные каждым из членов группы самостоятельно. Моя роль в таких обсуждениях похожа на роль дирижера в оркестре: я даю направление дискуссии, возвращаю отклоняющихся от центра к предмету обсуждения, истолковываю оригинал, сопоставляю варианты; в мою роль входит еще и понимание особой одаренности каждого из моих сотрудников и распределение в связи с этим наиболее целесообразно текстов для перевода. Так опыт подсказал мне, что Сато Чимишкян лучше всех приспособлена для перевода детских сказок, Клод Эрну — любовных и трагических стихотворений, Жан Бессон — фольклорно-песенных и балладных вещей (например, "Песен западных славян"), Андре Маркович — романтической лирики, Жан-Луи Бакес — антикизирующих произведений, Владимир Берелович — эпиграмм и вообще стихотворной сатиры. Думаю, что результаты нашей работы над Пушкиным вполне удовлетворительны. После Пушкина мы уже сделали полного Лермонтова, Алексея К.Толстого, большую антологию русской поэзии во французских переводах (Ла Декуверт-Масперо, 1983). Совместная работа продолжается — я рад, что наша творческая группа не распалась, а, напротив, окрепла.

— *Каковы реакции в России на опубликованного вами Пушкина в новых французских переводах?*

— Поскольку мое имя запрещено упоминать, то и двухтомник Пушкина тоже не упоминается. Меня это мало огорчает: рано или поздно о нем будут писать — и даже защищать докторские диссертации. Вот примеры. Романа Якобсона много лет нельзя было называть, теперь он стал классиком науки, и советские с гордостью вспоминают о его "русском" происхождении. Бунин вернулся к русскому читателю в ранге где-то рядом с Чеховым, а ведь в тридцатые годы за упоминание Бунина могли и посадить. Даже Бальмонт опубликован в "Библиотеке поэта", не говоря о таком эмигранте, как Саша Черный. Я не сравниваю себя с ними, но хочу сказать, что мой оптимизм оправдан фантазмагоричностью советского общества и его истории. Пройдет время, и все встанет на место. Еще недавно всесильный поэт-коммунист протезировал бедной, затравленной Анне Ахматовой; прошло совсем немного лет, и оказалось, что Ахматова — королева, а Сурков ... Как вы скажете — Сурков? Кто это такой?

— *О русской и французской просодии.*

— Русское стихосложение — тоническое, основанное на чередовании ударных и неударных слогов; это позволяет ему имитировать и античные стихи, где чередуются долгие слоги и короткие. Французская просодия — силлабическая; учитывается лишь число слогов в строке и местоположение цезуры. Очень ли это важно для перевода? Нет. Русские и немцы всегда переводили французов, передавая их силлабику своей тоникой; важно, чтобы передавать привычное привычным, а нарушения нормы эквивалентными нарушениями, пусть другой нормы. Вот если переводить русский тонический стих искусственным французским тоническим стихом, это будет нарушением всех законов переводческого искусства: то, что в оригинале нейтрально, приобрело бы в переводе резкую выразительность. Иначе говоря, мы подменили бы норму — нарушением нормы.

— *Что вы думаете о современных переводах Шекспира?*

— Английский Шекспир звучит на старинном языке с трудом и не до конца понятном для современных англичан. Бонфуа во Франции, Пастернак в России создали сегодняшнего

Шекспира, звучащего на русском и французском языках современнее, чем Шекспир на английском. Таким образом, Шекспир оказался переведенным этими мастерами не только с одного языка на другой, но и с одной эпохи на другую, с древности на актуальность. Японский кинорежиссер Куросава перенес действие "Короля Лира" в Японию и дочерей превратил в сыновей; это тоже один из законных методов "перевода" — приближение классики к читателю, зрителю. Методы Бонфуа и Пастернака — методы актуализации — не слишком отличны от Куросавы.

— *Как приняла французская критика вашу книгу "Кризис одного искусства", в которой вы резко отзываясь о французской практике перевода стихов дурной прозой?*

— Критика была позитивная; французская пресса не опровергала моих положений. В двух-трех рецензиях, однако, промелькнуло следующее суждение: за перевод платят гроши; если правильно и хорошо перевести сонет, сохраняя и порядок рифм, и ритмику, и образность, и движение смысла, то на перевод нужны не часы, а недели. Сколько за сонет можно получить гонорара? Скажем, сто франков. А среднее жалование во Франции составляет 250 франков в день. Сколько же может заработать переводчик сонетов? Прозой можно перевести хоть двадцать сонетов в день. Расчет простой и неопровержимый. Он тем более верен, что покупатели редко и мало покупают сборники стихов; пока отношение к поэзии не изменится, кризис будет углубляться.

— *"Русская поэзия самая гостеприимная в мире. Национальное свойство русской поэзии в том, что она интернациональна" — это цитата из вашего предисловия к вашей же "Антологии русской поэзии" по-французски (1983). Что означает это для перевода?*

— Русская поэзия в XVIII-XIX веках вообще не делала различий между оригинальной и переводной поэзией. Жуковский перевел множество баллад Шиллера, Рюккерта, Саути, Уланда, Вальтера Скотта — и все это вошло под именем Жуковского в поэзию русского романтизма. Шиллер стал русским поэтом, как и Беранже, и Гейне. Пушкин не отделял Шенье, Парни,

Вольтера от русских поэтов. Да и позднее, когда перевод стал профессией, нельзя отделить русскую поэзию от иностранной. К переводу всегда относились как к творчеству. Это сохранилось до наших дней — у Бен. Лившица, М.Лозинского, С.Маршака, Б.Пастернака, А.Ахматовой, М.Цветаевой, В.Левика, Л.Гинзбурга...

— *Откуда этот невероятный интерес в России к стихам, который доходит до того, что зеки в лагерях меняли хлебный паек на стихи?*

— Я и сам задумывался над причинами такого увлечения словом и ритмом; это верно, что в России ценят поэтическое слово выше, чем в других странах Европы (на других континентах — не знаю). Почему? Может быть, это связано с многовековой и теперь утраченной религиозностью русских — стихи стали для них заменой молитвы и литургии: они позволяют приобщиться вечности. Еще одно: стихи объединяют, а в наиболее явной форме объединяют песни. Тяга к соборности — давнее свойство русской национальной культуры, унаследованное от предков. Выше всего ценят поэтов, воспринимаемых "всемирно", — режим это понимает и эксплуатирует, устраивая праздники поэзии — Пушкинские, Тютчевские, Некрасовские, Блоковские, и даже эти официальные чествования не отвращают людей от стихов, хотя могли бы. Лучшее доказательство устойчивости поэзии в России не такие празднества, а тот факт, что любовь к Пушкину, Тютчеву, Некрасову, Блоку живет, несмотря на них. Даже интерес к Маяковскому не удалось окончательно погасить памятниками, цитатами, премиями, восхвалениями; его, по слову Пастернака, насаждали, "как картофель при Екатерине", и это ослабило любовь к нему молодежи, но не уничтожило ее: "Облако в штанах" и "Флейта-позвоночник" сильнее официального признания.

Любопытное расхождение, которое требует истолкования. Дело в том, что западная поэзия нашего века пошла путем верлибра, русская сохранила приверженность к стиху метрическому и рифмованному. Думаю, что это связано с тем же, о чем я только что говорил: ритм имеет объединяющее, императивное

значение, верлибр — проявление индивидуального произвола, полного субъективизма. Понятно, что стремление к соборности ведет к утверждению ритма и рифмы.

— *О красоте и богатстве русского языка.*

— Все языки прекрасны — каждый по-своему. С точки зрения одного языка, другой может показаться смешным или даже уродливым, но это столь же достоверно, сколько слова лошади, которая сказала, взглянув на верблюда: "Какая ужасная лошадь-ублюдок!" А верблюд ответил: "Да лошадь разветы? Ты просто-напросто верблюд недоразвитый". (Маяковский).

Верблюд красив по-своему, а лошадь по-своему. Немцу французский кажется смешным, потому что надо говорить в нос, как при насморке. Французам кажется, что англичане лают: "Хай! Хау ду ю ду? Уот? Уен?..", а англичанам — что немецкие фразы сужаются в перспективе, как рельсы. Русский язык раздражает итальянское ухо звуками Щ или Ы. Между тем, русский язык обладает рядом объективных достоинств. Прежде всего, в нем имеется богатейший слой архаизмов, заимствованных в русской поэзии из церковно-славянского: очи, длани, ланиты, чело, рамена, персты, перси, уста, млеко, вран, стекло... Этой лексике соответствует и торжественно-архаический синтаксис. Далее, русский обладает множеством "потенциальных слов", то-есть таких, каких нет в словаре, но которые могут быть; их можно создать и с помощью аффиксов и словосложением, и обрубаньем, оголеньем основы. Русский — по своим возможностям — богатейший в мире язык; да и число стилистических синонимов (как вверх по шкале торжественности, так и вниз, в сторону вульгарности) в нем рекордное. По звучанью он гармоничен, — нет звуков, подавляющих другие (к таким агрессивным звукам относятся гуттуральные или интердентальные, как, например, в грузинском или английском). Поэтому русские люди могут без труда овладеть любой чужезычной фонетикой — в отличие от французов и англичан, у которых слишком сильны "агрессивные" звуки их языков.

— *Какие русские поэты пострадали после революции только потому, что они были поэтами?*

— Много, очень много. Ахматову травили только за ее стихи, Мандельштама за стихи убили. Вот несколько имен погубленных поэтов: Борис Корнилов, Павел Васильев, Бенедикт Лившиц, Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Олейников, Владимир Нарбут, Николай Гумилев, Перец Маркиш, Ицик Фефер, Лев Квитко... Большинство названных погибли в лагерях и тюрьмах, другие умерли в своей постели, но пережили травлю, которая раздавила их морально. Таких потерь русская культура не несла еще никогда.

— *Двустышие, которое вам запомнилось?*

— **Из Гете, как из гетто, говорят
Обугленные губы Пастернака —**

я считаю гениальным. Именно поэтому исполню вашу просьбу и назову автора: Татьяна Галушко. Она по-прежнему живет в Ленинграде и пишет — недавно вышел ее сборник хороших стихов.

— *Почему Галич и Высоцкий были в немилости? Неужели популярность так не нравится властям?*

— Конечно, властям не нравится популярность, противоречащая официальным установкам. Власти не могут понять: есть такой хороший советский поэт-песенник, как Лебедев-Кумач, зачем же вам Галич? Есть Н.Доризо, Евг.Долматовский, М.Матусовский — для чего же вам Высоцкий? На эти вопросы они сами отвечают так: Галич и Высоцкий нравятся только потому, что они антисоветчики, клеветники. Им не приходит в голову, что Галич и Высоцкий открыли целую запретную область советской жизни и что их песни заменили десятки ненаписанных романов. Песни распространяются легко, запоминаются, не нуждаются в типографиях и даже вообще в бумаге — это делает их особенно опасными для режима. Из тем, затронутых Галичем, достаточно назвать одну: судьбу советской женщины. Ни один прозаик так психологически достоверно и даже подробно не рассказал о несчастных судьбах одиноких, надорвавшихся на непосильной работе, с детства

обреченных на бедствия (как дети врагов народа), старых и молодых женщинах. В советском искусстве реализм запрещен цензурой (поощряется реализм социалистический, который так же далек от реальности, как и от социализма). А Галич и Высоцкий — самые настоящие реалисты (в отличие, например от создателя песенного жанра Булата Окуджавы, который — романтик).

— *Вы цитируете фразу Луконина, шельмующего Пастернака и позорящего Ахматову, и спрашиваете: "Это несовместимо со словом "поэт". Порождала ли такие ничтожества нищета сталинской эпохи?"*

— Михаил Луконин не худший из своих однолеток, — те, кто с ним учились, говорят о его искренности. Может быть, он и в самом деле считал Пастернака юридическим, а Ахматову — магнитом, притягивающим весь сор. Беда в том, что вырастили целое поколение таких нравственных уродов, и, может быть, не одно поколение. Нравственное уродство этих людей в том, что они всегда готовы бить лежачего, не понимая, что это — подлость; они готовы повторять любые фразы официальной партийной пропаганды, не понимая, что повторять мерзкие глупости — прежде всего, стыдно ("... коленапреклоненные перед Западом души"); они не умеют — или не хотят — отличать чистое золото поэзии от грубых графоманских подделок под нее. До сих пор у руководства в Союзе писателей и в литературных журналах, в издательствах и радиоредакциях — Луконины. Так будет долго, пока продержится партийно-государственная монополия.

— *Достанут ли советские студенты вашу книгу "Материя стиха"?*

— Уверен, что они прочтут ее, но не скоро. Мне хочется верить, что лет через пятнадцать моя книга еще не устареет. Теперь ее читали специалисты, до которых она добралась, как все доходит, вопреки рогаткам и запретам.

— *Каковы главные ошибки людей Запада в оценке Советского Союза? Каковы положительные черты советской жизни, отличающие ее от западной?*

— Главные ошибки противоположны друг другу: одни считают, что СССР — страна победившей социальной справедливо-

сти, рай для рабочих, другие — что СССР не что иное, как большой ГУЛаг. Оба утверждения совершенно ложны. Не рай, потому что жить в этой стране плохо всем (кроме видных бюрократов); не ГУЛаг, потому что в советской повседневности есть свои радости.

Положительные черты советской жизни? Вот некоторые:

— Большой интерес к культуре: литературе (прошлого и настоящего времени), театру, музыке, живописи — все это в СССР играет большую роль, чем на Западе, где можно быть свободным не только в области классической культуры!

— Презрение ко всем формам мещанства, образовавшееся за много десятилетий развития русской литературы и поддержанное советской пропагандой, воспитывавшей презрение к частной собственности и ко всем формам наживы, спекуляции, профита;

— Давно утвердившееся в России стремление к коллективизму, отвергающее всякое проявление эгоизма;

— Старомодное простодушие, еще не до конца уничтоженное характерным для нашего века цинизмом в отношениях между полами и безудержным распутством.

Прибавлю то, что знаю по собственному опыту: университетское образование в СССР поставлено лучше, чем на Западе, — несмотря на идеологический нажим: больше общих курсов, продуманное сотрудничество между преподавателями, есть научная жизнь на кафедре, в этой жизни участвуют преподаватели вместе со студентами и т.д.

— *Один югославский публицист, опираясь на свои наблюдения в Югославии, спрашивал: "Почему люди, которые были героями на войне, боятся в нормальной жизни?" Согласны ли вы с его утверждением?*

— Наблюдение югославского публициста справедливо не только по отношению к Югославии: я не раз наблюдал это странное изменение и в СССР. Дело, вероятно, в том, что там, на войне, мы имеем дело с врагами и знаем, как себя вести. В собственном обществе мы окружены нашими, казалось бы, единомышленниками. Понять, что они враги, очень трудно. А нередко, когда уже поймешь, поздно — собственную линию

поведения пересмотреть невозможно. К тому же они и не враги в том смысле, в котором мы так называем противника на войне. На войне мы знаем, что, если вернемся домой, то нас ждет мирная жизнь в нормальном обществе. А что мы знаем, живя в "нормальном мирном обществе"? Ведь за его пределами нет больше ничего...

Бывает и так, что человек решается на борьбу внутри общества, на сопротивление, — он становится диссидентом и ведет себя бесстрашно. Его принуждают к эмиграции, он приезжает на Запад — и вдруг здесь, на свободном Западе становится трусом. Причины те же: отступить больше некуда. Раньше за его спиной была еще граница, эмиграция; теперь остался только тот свет. Остается идти на сделку с собственной совестью.

Интервью вела югославская журналистка Бранка БОГАВАЦ

МИХАИЛ ФЕДОТОВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Соотечественники

Богатый бедуйн и Танька

(книга романтических рассказов)

Ангелтань

(главы из книги)

Край

Открытое письмо в редакцию "Русской мысли"

Можно ли верить Библии

400 страниц. Цена 15 долларов. (В Израиле 15 шекелей)

Адрес: М. Fedotov, POBox 6997, Jerusalem, Israel.

О ЛЕОНИДЕ ГРОССМАНЕ

Книга Леонида Гроссмана (1888-1965) "Исповедь одного еврея" открывает еще одну страницу в истории русской литературы и общественной мысли. Более того, эта книга — беспрецедентный и уникальный опыт романа-исследования, посвященного еврею. Герой Гроссмана — реальная личность. Это журналист, писатель, литературный критик и мемуарист А.У.Ковнер, прозванный еврейским Писаревым. Трагическая судьба Ковнера, полная взлетов и крушений, была озарена перепиской с Ф. Достоевским, дающей богатый материал для размышлений о сложном отношении великого русского писателя к еврейскому вопросу.

Леонид Гроссман — известный литературовед и писатель, был тонким стилистом, блистательным лектором, глубоким знатоком русской и европейской литературы и театра. Сфера научных и писательских интересов Гроссмана была необычно широка: Пушкин и Достоевский, Лесков, Сухово-Кобылин, Чехов и Лев Толстой, Лермонтов и Аполлон Григорьев, Тютчев и Салтыков-Щедрин, Каролина Павлова, Блок, Вольтер, Стендаль, Бальзак, мастера русской сцены... Свои научные труды, ставившие новые проблемы, вносившие новые точки зрения, новые факты, Леонид Гроссман писал так изящно, так живо, картинно, доступно, что литературоведческие работы, подписанные его именем, читают не только специалисты, но и люди, не имеющие ровно никакого отношения к науке о литературе.

Леонид Гроссман известен также своими романами — "Записки д'Аршиака", "Рулетенбург", "Бархатный диктатор" и другие. Дар романиста позволил Гроссману сблизить литературоведение с художественной прозой. Вот почему, как и многие другие литературоведческие труды Гроссмана, "Исповедь одного еврея" читается с неослабевающим интересом.

Григорий ПОЛЯК

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО



Леонид ГРОССМАН

ИСПОВЕДЬ ОДНОГО ЕВРЕЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале 1877 года Достоевский среди десятков писем, ежедневно получаемых им от читателей "Дневника писателя", получил одно сильно поразившее его. Оно шло из московской тюрьмы и было подписано незначашей еврейской фамилией.

"Я редко читал что-нибудь умнее вашего письма ко мне", — отвечал вскоре писатель своему безвестному корреспонденту. — "Письмо ваше увлекательно хорошо"... И затем на протяжении всего своего ответа Достоевский не перестает отмечать выдающийся ум своего заочного собеседника и выражать свое глубокое уважение к нему.

Он не ограничивается при этом непосредственным ответом ему, но посвящает поразившему его письму целую главу своего "Дневника писателя", где в обширных отрывках цитирует дошедший до него замечательный человеческий документ и подробнейшим образом отвечает на поставленные ему вопросы и сделанные укоры, великий писатель считает нужным дать всенародно ответ и морально оправдаться перед бытским узником, заклеянным обществом, судом и печатью.

* Фрагменты из книги Л.Гроссмана "Исповедь одного еврея", выходящей в издательстве "Серебряный век".

Острый интерес к нему автора "Бесов" обязывает и нас пристально всмотреться в забытую фигуру одного странного мечтателя гетто и по возможности ответить на вопрос, кто же автор этого умнейшего письма, столь поразившего Достоевского.

Ответ на все эти вопросы возможен. Корреспондент Достоевского поддается некоторому историческому освещению. Это был выдающийся самородок, ярко одаренная натура, острый и подвижный ум неутомимого искателя, которому выпал на долю тяжкий крест: преодолеть косные ограды многовекового национального сознания, чтоб вырваться на широкие просторы общечеловеческой мысли.

За долгую жизнь он узнал многое: гнет и мрачность нищенствующих кварталов Литвы в эпоху Николая I, изучение Талмуда в ветхих молельнях, жалкую и одуряющую среду "ешиботных бурс"...

Полоса безотрадного детства сменяется первыми проблесками отроческого сознания. Наступает сладостная пора тайных приобщений к запретным "берлинским" книгам и жадного знакомства с исканиями человеческой мысли за пределами замкнутого круга талмудической образованности. Открывается затем возбужденная эпоха его знакомства с русской литературой и пламенного увлечения бурным периодом культурных переоценок. Это горение современными течениями русской мысли приводит, наконец, юного талмудиста к участию в пропаганде новых идей, к жаркой литературной работе, к высокой мечте стать вождем и преобразователем своего народа.

Затем наступает кризис. Рискованная и ложная попытка пойти против условностей окружающего общества и его правового строя терпит неизбежное крушение: суд, лишение прав, тюрьма, кандалы, этап и Сибирь — вот самый мрачный и самый заостренный момент этой судьбы.

Но трагедия неожиданно озаряется и доносит до нас свой отзвук: возникает странная, смелая, обнаженная и вызывающая переписка с Достоевским, который шлет в московскую тюрьму проникновенный ответ на полученную исповедь и од-

новременно посвящает целую главу "Дневника писателя" жаркому самооправданию перед этим неожиданным обвинителем, лишенными прав по суду и осужденным на арестантские роты.

Следуют затем годы нисхождения, замирания, упадка. Скорбный путь по этапу в Сибирь в наручниках на общей цепи с другими арестантами, темные годы сибирской ссылки и, наконец, обращение в христианство, которым этот протестант-неудачник словно хочет навсегда отрезать себя от своего прошлого.

Странная, унылая и печальная биография! Она была бы, вероятно, забыта навсегда, если бы на одном из перекрестков этого многострадального пути неожиданно не выросла перед нами фигура Достоевского; если бы "Преступление и наказание", главы из "Дневника писателя" и сама переписка автора "Бесов" не переплеталась бы таинственными нитями с темной участью этого забытого героя уголовной хроники семидесятых годов.

Эти беседы Достоевского с одним евреем, их заочная встреча и напряженные споры, представляют обильный материал для суждений об антисемитизме "великого консерватора", об его сложном отношении к проблеме иудаизма. Они раскрывают при этом всю глубину влияния Достоевского на современников. Ибо трагический перелом в жизни безвестного еврейского писателя прошел целиком под знаком одного замысла великого русского художника.

Можно утверждать, что одна из величайших книг того времени оказала несомненное влияние на рискованный шаг этого непризнанного вождя, и образ Раскольников стоял перед ним героической и вдохновляющей фигурой, когда он устраивал мысленно судьбу нескольких обойденных. Один из них, отравленный книгой Достоевского и затем потерпевший крушение в своем опыте, решил обратиться к его автору за высшим и окончательным приговором.

К знаменитому романисту обращается герой скандального процесса, осужденный за подлог и мошенничество. И удивительней всего то, что он, как равный, говорит с Достоевским

и даже считает себя вправе судить его. Отверженный, осужденный, ошельмованный всеми преступник зовет к ответу великого писателя и творит над ним высший суд во имя абсолютной правды и незыблемой справедливости.

Таков был Авраам-Урия Ковнер, написавший в 60-х годах несколько боевых книг на древне-еврейском языке, глубоко возмущивших его соплеменников и заслуживших ему имя "еврейского Писарева", работавший затем в передовой русской журналистике, прославившийся в 70-х годах получением 168 000 путем обмана двух крупных столичных банков, вступивший из тюрьмы в переписку с Достоевским, затем отбывавший наказание в Сибири и скончавшийся христианином в 1909-м году в Ломже, где он состоял маленьким чиновником на государственной службе.

"Я стою полный удивления перед этой странной, удивительной фигурой, которая была и осталась для меня полной загадкой" — пишет один из близко знавших его современников.

Но отставленный от литературы и оторванный от читателей, старый публицист не вовсе умолк. Свое возмущение неправдой текущего он в преклонные годы не перестает выражать в обширных письмах к писателям и государственным деятелям. Он посылает свои размышления и протесты Льву Толстому, Розанову, А.Столыпину, министру юстиции Муравьеву. И сила его открытой и стремительной мысли такова, что несмотря на все его отлучения от печати, она выбивается наружу и доходит до читателя.

ПЕРЕПИСКА С ДОСТОЕВСКИМ VIA DOLOROSA

**Как это и откуда я попал в ненавистники
еврея, как народа, как нации?..**
Достоевский, Дневник писателя, 1873, III
(Ответ А.Г.Ковнеру).

1

После суда Ковнер был снова заключен в московский тюремный замок, где он содержался и до разбирательства своего дела. По доставлении его из Киева в Москву он только некоторое время провел в одиночном заключении в Сущевской части, где сильно томился и откуда вскоре был переведен в громадное здание московского тюремного замка на Бутырках.

Как лицо, принадлежащее к податному сословию, Ковнер был помещен в общее отделение, где ему пришлось жить рядом с опаснейшими преступниками. "Нигде, — отмечает он в своих "Тюремных воспоминаниях", — не заметно такого различия между дворянской костью и простым народом, как в стенах тюрьмы". Дух сословности крепко держался в тюрьмах и этапах — замечает он далее: "Мне пришлось вынести на себе тяжесть положения ссыльного податного сословия". Отчаянные головы, тюремные "жиганы", закандаленные арестанты с опухшими и зверскими лицами справляли по ночам пьяные пиршества с бранью, криками, буйными песнями. Ковнеру неоднократно грозили побоями и даже убийством. Пребывание в этом общем отделении, вероятно, скверно бы окончилось для него, если бы заключенные "дворянского отделения" не согласились принять его к себе в качестве прислужника. Это предоставляло ему удобный угол с приличной обстановкой в небольшом флигельке на отдельном двореке, где привилегированные арестанты могли даже заниматься садоводством и огородничеством. При желании здесь нетрудно было наладить получение писем, книг и газет.

Среда, окружавшая теперь Ковнера, была так же чужда ему,

как и обитатели его первого местопребывания. "Дворянское отделение" было заполнено участниками прошумевшего в то время процесса "Клуба червонных валетов", обвинявшихся в бесчисленных подлогах, мошенничествах и убийствах. Злостные банкроты, составители фальшивых векселей, громкие герои тогдашней уголовной хроники дополняли эту среду.

Отдалиться от общего круга не было никакой возможности. "Каждому заключенному приходилось непрерывно находиться в атмосфере всеобщего говора и шума. Но, несмотря на эту невозможность уединиться и сосредоточиться, несмотря даже на строгий запрет иметь письменные принадлежности, писательская натура Ковнера брала свое. В тюрьме он вел свой дневник, в котором, по его позднему свидетельству, "было больше мыслей, чем фактов". До нас дошли лишь отдельные отрывки этих тетрадей, вкрапленные в его позднейшие письма; здесь же он написал повесть "Кто лучше?" и комедию из судебного быта; отсюда, наконец, он вступил в переписку с Достоевским.

История его единственного драматического опыта не лишена интереса. В то время русское общество драматических писателей, во главе которого стоял А.Н.Островский, объявило конкурс на оригинальную комедию. Ковнер решил обработать в драматической форме свои наблюдения над судебным миром и написал пятиактную комедию "Наша взяла!" Рукопись была представлена на суд под характерным для автора девизом "Summum jus — summa injuria". Через некоторое время он узнал из газет, что из 86 пьес, присланных на конкурс, жюри в составе И.А.Гончарова, А.Н.Майкова и А.Н.Пыпина признало только три заслуживающими "особенного внимания" по своим литературным достоинствам: комедия "Наша взяла!" значилась в т о р о й .

Но это произведение Ковнера, как и многие другие, подверглось печальной участи бесследного исчезновения. Несмотря на попытки его напечатать комедию (переименованную им в "Дружескую услугу"), или поставить ее на сцене, он не только не добился опубликования своей пьесы, но потерял в этих заочных хлопотах все следы своей рукописи.

Рядом с литературной работой в тюрьме шла культуртрегерская деятельность Ковнера. Он знакомит арестантов с шахматной игрой и устраивает для них литературные вечера. Одно из первых публичных чтений было посвящено комедии Островского "Правда хорошо, а счастье лучше". Оно имело громадный успех. "Несмотря на то, что мои слушатели почти все поголовно были неграмотны, что арестанты любят больше фантастические рассказы и сказки и что названная комедия отличается особенной простотой замысла, — все слушали с величайшим вниманием, чрезвычайно заинтересовались судьбою действующих лиц и горячо благодарили меня за доставленное им великое удовольствие. Мои чтения повторялись часто и всегда с большим успехом".

В московских тюрьмах (сначала в Бутырском замке, затем в другой "временной" тюрьме) Ковнер пробыл около двух лет. Ему удалось получить от губернского правления признания его неспособным, по слабости здоровья, к отбыванию наказания в арестантских ротах, взамен чего ему предстояло четырехлетнее тюремное заключение. Воспользовавшись циркуляром министра внутренних дел в том, что осужденные подобной категории могут быть высланы на житье в Сибирь, если общества, к которым они приписаны, отказываются принять их обратно в свою среду, Ковнер выхлопотал у своего общества подобный отказ и таким образом получил право отправиться по этапу в Сибирь, где для него начиналась свободная жизнь. Такой добровольной ссылкой он сократил срок своего тюремного заключения почти на два года.

Незадолго до своего отъезда из Москвы Ковнер вступил в переписку с Достоевским.

2

Зная психологическую основу "преступления" Ковнера, нетрудно догадаться о причинах его первого письма к автору "Дневника писателя". Последователь раскольниковской теории, искупающий тюрьмой опыт своего отпадения от общественной морали, отброшенный судебным приговором в среду патентованных преступников-грабителей, убийц и шулеров, —

он тщательно и строго пересматривает в своем многолюдном тюремном одиночестве историю своего преступления. Он снова вникает в доводы своих обвинителей и, по совести, не в силах осудить себя. Вокруг него "червонные валеты" считают его вполне своим и не подозревают даже о возможности каких-либо различий в оценке их одинаковых деяний. Но сам он сохраняет глубокое убеждение в своем праве пойти особым, хотя бы и незаконным путем для полного выявления своего творческого призвания и верного спасения нескольких голодающих, изнуренных и чахоточных. Его никто еще не понял до сих пор. Не говоря уже, конечно, об обществе, о печати, о присяжных, — ни семья, ни любимая женщина, испугавшаяся его дерзости, ни даже адвокат, блиставший на суде своими прогрессивными воззрениями и меньше всего усвоивший точку зрения своего подзащитного — решительно никто не мог допустить в условиях правового строя, ревниво оберегающего собственность, возможность нравственного поступка, связанного с нарушением этого фундаментального права. Из современников, к которым он мог обратиться за окончательным осуждением, кажется один только мыслитель мог взглянуть иначе на это правонарушение и проникнуть в сложный лабиринт его побуждений и замыслов. Вот почему из тюремной камеры Ковнер отдает себя на высший суд творцу "Преступления и наказания".

26 января 1877 года он отсылает следующее письмо Достоевскому:

"Многоуважаемый Федор Михайлович

Странная мысль пришла мне в голову — написать Вам настоящее письмо. Несмотря на то, что Вы получаете письма со всех концов России и между ними — без всякого сомнения — довольно глупые и странные, но от меня Вы никогда не могли ожидать писем.

Кто же, однако, этот "я"?

Я, во-первых, еврей, — а Вы очень недолюбливаете евреев (о чем, впрочем, будет у меня речь впереди); во-вторых, я был одним из тех публицистов, которых Вы презираете, которых Вас (то-есть Ваши литературные труды) много, азартно

и зло ругал. Если я не ошибаюсь, то в одной статье во время редактирования Вами "Гражданина", Вы чрезвычайно метко отзывались обо мне — не упоминая, впрочем, моего литературного псевдонима, — как о человеке, который всеми силами старался завести с Вами личную полемику, вызвать Вас на бой, но Вы проходили все мои выходки молчанием и не удовлетворили моего самолюбия; в-третьих, наконец, я — преступник и пишу Вам эти строки из тюрьмы.

Собственно говоря, последнее обстоятельство могло бы, напротив, извинить в Ваших глазах мое обращение к Вам, как к автору известных всем в России (то есть малочисленной интеллигенции) "Записок из мертвого дома". Но, увы! Я не такой преступник, которому Вы бы могли сочувствовать, так как я судился и осужден за подлог и мошенничество.

Вы, который так следите за всеми более или менее выдающимися явлениями общественной жизни, вообще, и процессами, в особенности, давно, я думаю, догадались, что я — Ковнер, который писал в "Голосе" фельетоны под рубрикой "Литературные и общественные курьезы", который затем служил в петербургском Учетном и Ссудном банке и который 28 апреля 1875 года, посредством подлога, похитил из московского Купеческого банка 168 000 рублей, скрылся, был задержан в Киеве со всеми деньгами*, доставлен в Москву, судим и осужден к отдаче в арестантские роты на четыре года.

Но в чем, собственно, цель моего письма?

Вы, как глубокий психолог, поверите мне, что я сам не могу себе выяснить этой цели и что, очень может быть, никакой цели у меня нет. Побудило же меня писать Вам Ваше издание "Дневник писателя", который читаю с величайшим вниманием и каждый выпуск которого так и толкает меня хвалить и порицать Вас в одно и то же время, опровергать кажущиеся мне парадоксы и удивляться гениальному Вашему анализу.

Я должен Вам признаться, что несмотря на то, что я Вас

* Последнее указание не совсем точно. Соучастник Ковнера, скрывшийся за границу, увез из указанной суммы 45 000, незначительная часть денег была переведена Ковнером в Петербург его кредиторам.

когда-то искренне ругал и издевался над Вами, читаю Ваши произведения с большим наслаждением, чем всех остальных русских писателей и что с величайшим вниманием и любовью читаю именно те Ваши сочинения, которых и публика, и критика недолюбливает. Нечего говорить, что и "Записки мертвого дома" вещь прекрасная, "Униженные и оскорбленные" — вещь очень порядочная, "Преступление и наказание" — бесспорно превосходный роман (мелочи Ваши, вроде "Скверного анекдота", "Вечного мужа" и прочих, мне вовсе не нравятся), — но я считаю Вашим шедевром "Идиота"; "Бесов" я прочитывал много раз, а "Подросток" приводил меня в восторг. И люблю я в Ваших последних произведениях эти болезненные натуры, жизнь и действия которых нарисованы Вами с таким неподражаемым, можно сказать, гениальным мастерством. В то время как другие находят последние Ваши романы скучными, я, напротив, буквально не могу оторваться от их страниц, каждый почти период я читаю по несколько раз и удивляюсь Вашему живому анализу всех поступков Ваших героев и замечательному умению держать читателя (то-есть меня) в постоянном напряжении и ожидании. Вы не вдаетесь в мелкие и мелочные описания подробностей наружности действующих лиц, их обстановки, картин природы, туалетов и прочей дребедени, которыми так любят щеголять наши первоклассные писатели, начиная от Тургенева, Гончарова, Толстого и кончая Боборыкиным (который доходит в этом отношении до отвращения), — но зато в Ваших романах (последних) кипит жизнь (положим, отчасти выдуманная, но зато возможная), движение, действие, чего с огнем не отыщешь в произведениях наших первоклассных художников. Но что касается Вашей публицистики, то хотя и в ней встречаю (помните, что я говорю только о своих личных впечатлениях) гениальные проблески ума и анализа, она страдает, по моему мнению, односторонностью и некоторой странностью. Это происходит, кажется мне, от свойственного Вам одному склада ума и логики — между тем как большинство мыслящих людей думают проще, изменнее и потому естественнее.

Однако прежде чем укажу Вам на некоторые странные и

непонятные для меня Ваши социальные и философские взгляды, я считаю нужным очертить перед Вами вкратце мою нравственную физиономию, мой *profession de foi*, некоторые подробности моей жизни.

Никто, я думаю, лучше Вас, не знает, что можно быть всю жизнь вполне честным человеком и совершить под известным давлением обстоятельств одно крупное преступление, а затем остаться опять навсегда вполне честным человеком.

Поверите ли Вы мне на слове, что я именно такой человек?

Я человек без ярлыка (под этим названием я напечатал роман в четырех частях, который был запрещен в 1872-м году, безусловно, комитетом министров, на основании закона от 7 июня 1872-го года).

Родился я в многочисленной нищей еврейской семье, в Вильне, где, то есть в семье, где люди проклинали друг друга за кусок хлеба; воспитание получил чисто талмудическое, до семнадцати лет скитался, по еврейскому обычаю, по маленьким еврейским городам, где существовал на чужих хлебах. На семнадцатом году меня женили на девушке гораздо старше меня. На восемнадцатом году я бежал от жены в Киев, где начал изучать русскую грамоту, иностранные языки и элементарные предметы общего образования с азбуки. Я был твердо намерен поступить в университет. Это было в начале шестидесятых годов, когда русская литература и молодежь праздновали медовый месяц прогресса. Усвоив себе скоро благодаря недурным способностям русскую речь, я увлекся также, наравне с другими, Добролюбовым, Чернышевским, "Современником", Боклем, Миллем, Молешотом и прочими корифеями царствовавших тогда авторитетов. Классицизм я возненавидел и потому не поступил в университет. Зная основательно древне-еврейский язык и талмудическую литературу, я возымел мысль сделаться реформатором моего несчастного народа. Я написал несколько книг, в которых доказал нелепость еврейских предрассудков на основании европейской науки, — но евреи жгли мои книги, а меня проклинали. Затем я бросився объятия русской литературы. Я переехал в Одессу и там

в продолжение четырех лет жил исключительно сотрудничеством в местных газетах, корреспондировал в петербургские газеты. В 1871-м году я приехал в Петербург. Тут я начал сотрудничать в "Деле", "Библиотеке", "Всемирном Труде" Окрейца, "Петербургских Ведомостях", а затем сделался постоянным сотрудником "Голоса". Разойдясь с Краевским, я решился бросить литературу, успокоить утомленный мозг и отыскать какой-нибудь механический труд. Я поступил в Учетный банк в качестве корреспондента (русского). Новая сфера, противная моему воспитанию, привычкам и убеждениям, заразила меня. Присматриваясь в продолжение двух лет к операциям банка, я убедился, что все банки основаны на обмане и мошенничестве. Видя, что люди наживают миллионы, я соблазнился и решил похитить такую сумму, которая составляет 3 процента с чистой прибыли за один год пайщиков богатейшего банка России. Эти 3 процента составили 168 тысяч рублей.

Это было первое (и последнее) пятно, которое легло на мою совесть и которое погубило меня. В этом совершенном мною преступлении играла главнейшую роль любовь к одной честной девушке честной семьи. Будучи горяч от природы, пользуясь хорошим здоровьем и отличаясь очень некрасивой наружностью, я не знал, что такое любовь хорошей женщины. Но в Петербурге меня полюбила чистая и славная девушка беззаветно, глубоко, пламенно (именно пламенно). Она меня полюбила, конечно, не за наружность, а за душевные качества, за некоторый умишко, за доброту сердечную, за готовность делать всякому добро и прочее. Она была очень бедна, у нее была только мать (отец давно умер) и еще три сестры. Я хотел жениться на ней, но у меня не было никакого верного источника к существованию, так как в банке я служил без всякого письменного условия, и директор мог мне отказать каждую минуту. К тому же у меня были долги небольшие, но все-таки не дававшие мне покоя... (я в отношении платежа долгов величайший педант).

Не естественно ли после всего этого, что я посягал* на вышеупомянутые 3 процента? Этими тремя процентами я обеспе-

чил бы дряхлых моих родителей, многочисленную мою нищую семью, малолетних моих детей от первой жены, любимую и любящую девушку, ее семейство и еще множество "униженных и оскорбленных", не причиняя притом никому существенного вреда. Вот настоящие мотивы моего преступления.

Я не оправдываюсь, но смело заявляю даже Вам, что у меня нет и не было никакого угрызения совести, совершив это преступление. Оно, конечно, против книжной и общественной морали, но я не вижу в этом никакого ужасного преступления, по поводу которого с пеной у рта говорила вся почти русская печать, забрасывая меня грязью и выставляя меня извергом рода человеческого...

Но Вы уже знаете, что я не воспользовался плодами преступления. Меня скоро поймали, арестовали вместе с женою (эта девушка обвенчалась со мной в тюремном замке!) *, потом нас судили, — меня обвинили, а ее оправдали (спасибо присяжным и за то). Но бедная девушка (Вы понимаете, что венчавшись со мной при такой обстановке, моя жена и после венчания осталась девушкой) не выдержала своего заключения, моего позора, разлуки со мною на долгие годы и вскоре после своего оправдания умерла. Этот последний удар был страшнее для меня всего предыдущего, и я чуть с ума не сошел. Я остался один, заброшенный в тюрьме, оплеванный, опозоренный, без всяких средств к существованию.

Не знаю, пережил ли еще один человек в мире подобные душевные пытки, — но об этом я подробно писал в своем дневнике, который, может быть, когда-нибудь увидит свет.

Но не об этом речь... Я уверен, что Вы из этого бестолкового, бессвязного очерка поймете мою нравственную физиономию.

Что касается моего profession de foi, то я вполне разделяю все мысли, высказанные (в Вашем "Дневнике" за октябрь) самоубийцей, и все проистекающие от них выводы, —

* Очевидно, Ковнер решил свое первое венчание по обычному праву закрепить официальным обрядом, который по-видимому и имел место в тюрьме летом 1875-го года. На суде, впрочем, жена его фигурировала под своей девичьей фамилией, под которой она вступила в судебное следствие.

* Мы оставляем без изменения некоторые неправильности в слоге Ковнера и в дальнейшем не оговариваем их.

поэтому я не буду распространяться о них. С точки зрения этих мыслей (которые выработаны мною давно и развиты с полной ясностью в моем романе "Без ярлыка" — почему он и был запрещен), я, понятно, не могу разделять Вашего взгляда на патриотизм, на народность вообще, на дух русского народа, в особенности, на славянство и даже на христианство, поэтому я не буду полемизировать с Вами об этих предметах. Но я намерен затронуть один предмет, который я решительно не могу себе объяснить. Это Ваша ненависть к "жиду", которая проявляется почти в каждом выпуске Вашего "Дневника".

Я бы хотел знать, почему Вы восстаете против "жида", а не против эксплуататора вообще. Я не меньше Вашего терпеть не могу предрассудков моей нации, — я немало от них страдал, — но никогда не соглашусь, что в крови этой нации лежит бесовская эксплуатация.

Неужели Вы не можете подняться до основного закона всякой социальной жизни, что все без исключения граждане одного государства, если они только несут на себе все повинности, необходимые для существования государства, должны пользоваться всеми правами и выгодами его существования и что для отступников от закона, для вредных членов общества должна существовать одна и та же мера взыскания, общая для всех?.. Почему же все евреи должны быть ограничены в правах и почему для них должны существовать специальные карательные законы? Чем эксплуатация чужестранцев (евреи ведь все-таки русские подданные): немцев, англичан, греков, которых в России чертова пропасть, лучше жидовской эксплуатации? Чем русский православный кулак-мироед, целовальник, кровопийца, которых так много расплодилось по всей России, лучше таковых из жидов, которые все-таки действуют в ограниченном кругу? Чем Губонин лучше Полякова? Чем Овсянников лучше Малькиеля? Чем Ламанский лучше Гинцбурга? Таких вопросов я бы мог Вам задавать тысячи.

Между тем, Вы, говоря о "жиде", включаете в это понятие всю страшно нищую массу трехмиллионного еврейского населения в России, из которых два миллиона девятьсот тысяч,

по крайней мере, ведут отчаянную борьбу за жалкое существование, нравственно чище не только других народностей, но и обоготворяемого Вами русского народа. В это название Вы включаете и ту почтенную цифру евреев, получивших высшее образование, отличающихся на всех поприщах государственной жизни — берите хоть Португалова, Кауфмана, Шапиро, Оршанского, Гольдштейна (геройски умершего в Сербии за славянскую идею), Выводцева и сотни других имен, работающих на пользу общества и человечества? Ваша ненависть к "жиду" простирается даже на Дизраэли, который, вероятно, сам не знает, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который уже, конечно, не руководит консервативной политикой с точки зрения "жида". Кстати замечу, что в одном Вашем "Дневнике" Вы выразились вроде того, что Дизраэли вы к л я н ч и л у королевы титул лорда, между тем как это общеизвестный факт, что еще в 1867-м году королева пред л о ж и л а ему лордство, но он отказался, желая служить представителем Нижней палаты.

Нет, к сожалению, Вы не знаете ни еврейского народа, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавековой истории, наконец. К сожалению, — потому что Вы, во всяком случае, человек искренний, абсолютно честный, а наносите бессознательно вред громадной массе нищенствующего народа, — сильные же "жиды", принимая министров, членов Государственного Совета в своих салонах, конечно, не боятся ни печати, ни даже бессильного гнева эксплуатируемых. Но довольно об этом предмете. Вряд ли я Вас убежду в моем взгляде, — но мне крайне желательно было бы, чтобы Вы убедили меня.

Мое письмо достигло почтенных размеров, а все-таки я до сих пор не могу выяснить себе самому цели его. Мысли переходят от одного предмета к другому, и все так избито, бессвязно, недоконченно.

Вот теперь я хочу поговорить с Вами насчет двух моих произведений, которые успел написать, сидя в замке. Одно — комедия в пяти действиях, которую я написал для соискания премии, объявленной Обществом драматических писателей. Конкурс еще не состоялся и я не знаю результата. В газетах

было напечатано, что комедия "Наша взяла" (это моя) обращает на себя внимание и стоит второю в числе лучших. Я пробовал сунуться с нею в некоторые редакции, — но трусят, боятся напечатать, несмотря на то, что признают ее весьма порядочно. Другое — это повесть под названием "Кто лучше?". Я ее отправил в Петербург, но не знаю еще ответа. Авось, пройдет. Я сделал хитрость и отдал ее в цензуру. И ничего, пропустили. Между тем, я опять боюсь, что наши бесцензурные издания не решатся ее принять. Экземпляр, который находится в Петербурге, не был в цензуре. Вот если бы Вы хотели принимать во мне участие и содействовать напечатанию моих трудов где-нибудь... Вы бы оказали мне громадную услугу, потому что страшно бедствую, почти голодаю... Я бы написал, чтобы Вам их принесли. Впрочем, я мало надеюсь. Я давно собрался к Вам писать и совсем не в этом тоне и духе, — но все отлагал. Теперь же пишу Вам, потому что после завтра переводят всех содержащихся в Московском тюремном замке в новое помещение, где, как утверждают, нельзя будет ни читать, ни писать. А я хотел непременно Вам написать.

Знаете, когда я недавно читал Ваш одиннадцатый выпуск "Дневника", то есть "Кроткую", мне пришли в голову, думая о том, что хочу Вам писать, некоторые мысли, которые я внес в мой "Дневник" и которые привожу здесь буквально. Судите сами, прав я или нет. Вот что записано в моем "Дневнике":

"Я уверен, что величайшие психологи-романисты, которые создают вернейшие типы порока и дурных инстинктов, анализируют все их поступки, все их душевные движения, находят в них искру божью, сочувствуют им, верят и желают их возрождения, возвышают их до степени евангельского "блудного сына", — эти самые великие писатели, при встрече с настоящим преступником, живым, содержащимся под замком в тюрьме, отвернутся от него, если он станет обращаться к вам за помощью, советом, утешением, хотя бы он вовсе не был таким закоренелым преступником, каким они рисуют многих в своих художественных произведениях. Они посмотрят на него с удивлением, станут в тупик... "Что, мол, может быть об-

щего между нашей нравственной чистотою и этой действительною грязью, опозоренной судом, тюрьмою, ссылкой, общественным мнением?" Это можно объяснить отчасти тем, что, создавая художественные отрицательные типы, как бы грязны и порочны они ни были (напротив, чем грязнее, тем лучше), наши писатели смотрят на них, как на собственное образцовое произведение, как на родное милое детище, и любят ими, то-есть самими собою, своим умением верно схватить с жизни тип, художественно обработать его мельчайшие изгибы души, чувств и ощущений, и прочее, и прочее. Но какое им дело до постороннего живого существа, которое погрязло в преступлении, хотя бы оно и рвалось на свет божий, умоляло о спасении, простирало к ним руки?... Разве могут возиться они с погибшими членами общества? Им ли делать что-нибудь реальное в их пользу? На это есть многочисленные благотворительные учреждения, могущественные сановники, сильные мира сего. Их дело только творить и создавать художественные образы и типы. Таким образом, в то время как они любят всеми тонкостями созданного ими художественного преступника, они, наверное, с чувством некоторого отвращения станут читать письмо от настоящего преступника, тайно присланное им из тюрьмы"...

Это рассуждение вызвано было отчасти воспоминанием, что одно мое письмо, написанное к князю Мещерскому-Гражданину, до сих пор осталось без ответа, — между тем, ведь он в своих пошлых и отвратительных "Тайнах современного Петербурга" в лице своего героя — идиота Боба — исправляет род человеческий, обращает на путь истинный извергов, безбожников и самых пропащих людей...

Может быть, Вы захотите заговорить в своем "Дневнике" о некоторых предметах, затронутых в этом письме, то Вы это сделаете, конечно, не упоминая моего имени.

Если же Вам вздумается мне ответить лично, то прошу Вас написать по следующему адресу: "Присяжному поверенному Л.А.Купернику, в Москве, по Спиридоновке, дом Медведовой, для Альберта".

Вы понимаете, что я хотел написать Вам в десять раз боль-

шее письмо о многих важных вопросах, — но вышло не так, и боюсь, что давно надоел Вам. Поэтому кончаю.

С глубоким уважением
А.КОВНЕР".

3

Неудивительно, что письмо Ковнера чрезвычайно заинтересовало Достоевского. В ответе своему корреспонденту писатель не перестает выражать свое уважение его необыкновенному уму.

Едва Ковнер отправил свое письмо Достоевскому, как получил последний выпуск "Дневника писателя", за которым внимательно следил даже из тюрьмы. Содержание этого декабрьского выпуска за 1876-й год побудило его продолжать начатую беседу, несмотря на полную неизвестность отношения к ней самого адресата его писем.

По поводу известных выступлений Достоевского в пользу осужденной Корниловой, Ковнер считает нужным снять с автора "Дневника" подозрение в его отвлеченном и "кабинетном" равнодушии к подлинному жизненному страданию. Но центр письма — попытка выяснить выдвинутый Достоевским в статье "Голословные утверждения" вопрос о бессмертии души. Убежденный рационалист, приверженец материалистической философии, давний противник религиозного мирозерцания, Ковнер выдвигает против Достоевского аргументацию философского атеизма. Он категорически возражает против основного утверждения Достоевского, что бессмертие души является необходимым условием всякого человеколюбия.

"Конечно, предмет этот так глубок и так широк, что сотни томов недостаточно, чтобы разрешить эту мировую задачу, о которой пишут pro и contra столько умов и гениев в продолжение многих веков — и не в этом письме место опровергать Ваши "утверждения". Но все-таки не могу воздержаться от некоторых замечаний, которые, однако, надеюсь, дадут Вам понятие о почве противников Ваших утверждений"...

Переходя к основному вопросу спора, Ковнер ставит ребром главный тезис диспута:

"Существует ли Бог, который сознательно управляет вселенной и который интересуется (это слово не вполне определяет мою мысль, но Вы, наверное, ее понимаете) людскими действиями? Что касается меня, то я до сих пор убежден в противном, особенно относительно последнего обстоятельства. Я вполне сознаю, что существует какая-то "сила" (назовите ее "Богом", если хотите), которая создала вселенную, которая вечно творит и которая никогда не может быть постигнута человеческим умом. Но я не могу допустить мысли, чтобы эта "сила" интересовалась жизнью и действиями своих творений и сознательно управляла ими, кем бы и чем эти творения ни были.

Не допускаю я этой мысли потому, что знаю, что весь мир, то есть вся наша земля, есть только один атом в солнечной системе, что солнце есть атом среди небесных светил, что Млечный путь состоит из мириадом солнц (это все говорит наука, которой никто из мыслящих людей не может отрицать), что вселенная бесконечна, что наша земля живет относительно небольшое число лет, что геология свидетельствует о бесконечных переворотах на ней, что гипотеза Дарвина о происхождении видов и человека весьма вероятна (во всяком случае, разумнее объясняет начало жизни на нашей земле, чем все религиозные и философские трактаты, вместе взятые), что инфузории, которых миллионы в каждой капле воды, мушки, рыбы, животные, птицы, словом, все живущее, имеют такое же право на существование, как и человек, что до сих пор есть миллионы, сотни миллионов людей, которые почти ничем не отличаются от животных, что наша цивилизация продолжается всего каких-нибудь 4 000 лет, что всевозможных религий бесконечное число (из которых одна противоречивее другой), что идея о единобожии зародилась так недавно и так далее, и так далее, и так далее.

После всего этого, спрашиваю я, какой смысл имеет для меня (и для всех) еврейство, эта колыбель новейших религий, христианство, все эти легенды о чудесах, о явлении Божьем, о Христе, о воскресении его, о святом духе; все эти святые угодники; наконец, все эти громкие, но пустейшие

слова, вроде бессмертия души, человечества, прогресса, цивилизации, народного духа и прочее, и прочее, и прочее?..

Неужели творящая сила вселенной или Бог интересуется ничтожными людскими помыслами? Вы скажете, что человек имеет искру божью, поэтому он стоит выше всех. Но сколько этих людей? Буквально капля в море. Вы должны сознать, что из 80-ти миллионов облюбленного Вами русского народа, в котором думаете находить лекарство (стр.324: "они в народе в святынях его (sic!) и в нашем соединении с ним"), положительно 60 миллионов живут буквально животной жизнью, не имея никакого разумного понятия ни о Боге, ни о Христе, ни о душе, ни о бессмертии ее"...

Свое краткое атеистическое исповедание, впоследствии развернутое в целый трактат и посланное в 1902-м году В.В. Розанову, Ковнер в 1877-м году заканчивает следующим обращением к Достоевскому:

"... Во всяком случае хотелось бы мне дожить до того времени, когда Ваши "утверждения" будут не "голословными". Поверьте, что я первый буду преклоняться перед Вашими истинами, когда будет доказано, что они — "истины". Но боюсь, что никогда Вы этого не докажете".

Так в двух письмах Ковнер раскрывает Достоевскому историю своей жизни и сущность своего мировоззрения.

4

Получив эти письма, Достоевский был живо заинтересован ими. Вступать в спор на тему второго письма он, впрочем, не захотел, считая ее, очевидно, слишком значительной для подобного эпистолярного диспута. Через два-три года в своем последнем романе он поставит со всей остротой и даже назовет главу "Братьев Карамазовых", в которой страстно и напряженно трактуется тот же вопрос, формулой pro и contra. Но зато первое письмо бутырского затворника вызывает с его стороны ответы по всем пунктам с перенесением даже главной реплики в ближайший выпуск "Дневника писателя".

В конце февраля 1877 года в московскую тюрьму приходит письмо Достоевского.

"Милостивый государь, Г.А.Ковнер!

Я Вам долго не отвечал потому, что я человек больной и чрезвычайно туго пишу мое ежемесячное издание. К тому же, каждый месяц дол жен отвечать на несколько десятков писем. Наконец, имею семью и другие дела и обязанности. Положительно, жить некогда и вступать в длинную переписку невозможно. С Вами же особенно.

Я редко читал что-нибудь умнее Вашего письма ко мне (второе письмо — специальность). Я совершенно верю Вам во всем том, где Вы говорите о себе. О преступлении, раз совершенном, Вы выразились так ясно и так (мне, по крайней мере) понятно, что я, не знавший подробно Вашего дела, теперь, по крайней мере, смотрю на него так, как Вы сами о нем судите.

Вы судите о моих романах. Об этом, конечно, мне с Вами нечего говорить, но мне понравилось, что Вы выделяете как лучший из всех "Идиота". Представьте, что это суждение я слышал уже раз пятьдесят, если не более. Книга же каждый год покупается и даже с каждым годом больше. Я про "Идиота" потому сказал теперь, что все говорившие мне о нем, как о лучшем моем произведении, имеют нечто особое в складе своего ума, очень меня поражавшее и мне нравившееся. А если и у Вас такой же склад ума, то для меня тем лучше. Разумеется, если Вы говорите искренно. Но хоть бы и неискренно.

Оставим это. Желал бы я, чтобы Вы не падали духом. Вы стали заниматься литературой — это добрый знак. Насчет помещения их* где-нибудь мною, не знаю, что Вам сказать. Я могу лишь поговорить в "Отечественных Записках" с Некрасовым или Салтыковым и поговорю непременно еще до прочтения их, но на успех даже и тут не надеюсь. Они, ко мне очень расположенные, уже отказали мне раз в рекомендованном и доставленном мною в их редакцию сочинении одного лица в прошлом году, и отказали, не распечатав даже пакета, на том основании, что от такого лица, что бы он ни писал, им нельзя ничего напечатать, и что журнал бережет свое знамя. Так я и ушел. Но об Вас я все-таки поговорю, на том

*Речь идет о присланных Достоевскому двух рукописях Ковнера.

основании, что если бы это было в то время, когда покойный брат мой издавал журнал "Время", то комедия или повесть Ваши, чуть-чуть они бы подходили к направлению журнала, несомненно были бы напечатаны (хотя бы вы сидели в остроге).

NB. Мне не совсем по сердцу те две строчки Вашего письма, где Вы говорите, что не чувствуете никакого раскаяния от сделанного Вами поступка в банке. Есть нечто высшее доводов рассудка и всевозможных подошедших обстоятельств, чему всякий обязан подчиниться (то-есть, вроде опять-таки как бы знамени). Может быть Вы настолько умны, что не оскорбитесь откровенностью и не призываю моею заметки. Во-первых, я сам не лучше Вас и никого (и это вовсе не ложное смирение, да и к чему бы мне?), а во-вторых, если я Вас и оправдаю по-своему в сердце моем (как приглашу я Вас оправдать меня), то все же лучше, если я Вас оправдаю, чем Вы сами себя оправдаете. Кажется, это не ясно. (NB. Кстати, маленькую параллель: христианин, то есть полный, высший, идеальный, говорит: "Я должен разделить с меньшим братом мое имущество и служить им всем". А коммунар говорит: "Да, ты должен разделить со мною, меньшим и нищим, твое имущество и должен мне служить". Христианин будет прав, а коммунар будет не прав. Впрочем, теперь, может быть, Вам еще непонятнее, что я хотел сказать).

Теперь о евреях. Распространиться на такие темы невозможно в письме, особенно с Вами, как сказал я выше. Вы так умны, что мы не решим подобного спорного пункта и во ста письмах, а только себя изломаем. Скажу Вам, что я и от других евреев уже получал в этом роде заметки. Особенно получил недавно одно идеально-благородное письмо от одной еврейки, подписавшейся тоже с горькими упреками. Я думаю, я напишу по поводу этих укоров от евреев несколько строк в февральском "Дневнике" моем (который еще не начинал писать, ибо до сих пор еще болен после недавнего припадка падучей моей болезни). Теперь же Вам скажу, что я вовсе не враг евреев и никогда им не был. Но уже сорокавековое, как Вы говорите, их существование доказывает, что это племя

имеет чрезвычайно жизненную силу, которая не могла в продолжение всей их истории не формулироваться в разные status in statu. Сильнейший status in statu бесспорен и у наших русских евреев. А если так, то как же они могут не стать, хотя отчасти, в разлад с корнем нации, с племенем русским? Вы указываете на интеллигенцию еврейскую, но ведь Вы тоже интеллигенция, а посмотрите

Но оставим, тема длинная. Врагом же я евреев не был. У меня есть знакомые евреи, есть еврейки, приходящие и теперь ко мне за советами по разным предметам, а они читают "Дневник писателя", и хотя щекотливые, как все евреи, за еврейство, но мне не враги, а напротив, приходят.

Насчет дела с Корниловой замечу лишь то, что Вы ничего не знаете, а стало быть тоже некомпетентны. Но какой однако же Вы ученик! С таким взглядом на сердце человека и на его поступки остается лишь погрязнуть в материальном удовольствии

... Но я Вас вовсе не знаю, несмотря на письмо Ваше. Письмо Ваше (первое) увлекательно хорошо. Хочу верить от всей души, что Вы совершенно искренни. Но если и не искренни — все равно: ибо неискренность в данном случае пресложное и преглубокое дело в своем роде. Верьте полной искренности, с которой жму протянутую Вами мне руку. Но возвысьтесь духом и формулируйте Ваш идеал. Ведь Вы же искали его до сих пор, или нет?

С глубоким уважением
Ваш Федор ДОСТОЕВСКИЙ".

Ковнер был счастлив, получив письмо Достоевского, и в горячих словах передал ему чувство своей глубокой радости и беспредельной душевной благодарности. Он выражает даже свое огорчение по поводу сомнения Достоевского в его искренности и роняет по этому поводу следующую любопытную оценку современных писателей: "Нет, многоуважаемый Федор Михайлович, прежде всего прошу Вас верить полной моей искренности, в противном случае я не обратился бы к Вам, а к Некрасову, Тургеневу или Салтыкову — потому что я абсо-

лютно убежден в Вашей абсолютной честности в высшем смысле этого слова"... Фраза Достоевского о том, что он не считает себя лучше своего корреспондента, представляется Ковнеру "святотатством". Он возражает против преувеличенного представления Достоевского о еврейском status in statu: "если где-нибудь сохраняются еще его следы, то только вследствие их невольного скучения на одном месте и самой отчаянной борьбы за жалкое существование".

"Затем я в полном недоумении, с чего Вы взяли, что я "ненавижу" русских и еще "именно потому, что я еврей". Боже, как Вы ошибаетесь!" Ковнер с искренним жаром исповедует Достоевскому в своей горячей любви "ко всякой эксплуатируемой массе вообще и к русской в особенности".

5

Достоевский исполнил свое намерение, и один из ближайших выпусков "Дневника писателя" посвятил в значительной части проблеме Ковнеровского обвинения — то-есть, своему отношению к еврейству. Несколько глав ("Еврейский вопрос". Status in statu, Pro и contra, Сорок веков бытия, Но да здравствует братство, Похороны "общечеловека") посвящены целиком разбору этого сложного вопроса, причем в своих рассуждениях Достоевский исходит из полученного им письма Ковнера, приводя из него обширные выдержки. Необходимо отметить, что, снимая с себя обвинение в антисемитизме, автор "Бесов" не может скрыть все же своего враждебного отношения к современному еврейству, и ответ его отличается несомненной двойственностью и некоторой софистичностью. Многие аргументы его производят тяжелое впечатление: Достоевский решается утверждать, что после освобождения крестьян "еврей" как бы снова закабалит их "вековечным золотым своим промыслом, что точно также в Америке евреи уже набросились всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров", что они же сгубили литовское население водкой и прочее, и прочее. Ковнер этих доводов не при-

нял и в следующем ответном письме, несмотря на все свое признательное уважение к Достоевскому, открыто выражает ему свои укоры за высказанные чудовищные воззрения.

На этом письме, в сущности, обрывается философская переписка Ковнера и Достоевского. Остальные его письма носят скорее деловой характер (просьбы содействовать литературным делам). 30 июня 1877-го года, перед самой отправкой в Сибирь по этапу, Ковнер прощается с Достоевским и делится с ним своими опасениями и надеждами: "Меня пугает не предстоящий длинный и томительный путь, а то захолустье, куда меня назначат и где в первое время я буду совершенно беспомощен".

"Кончая со всем своим прошлым и надеясь с прибытием в Сибирь, начать там новую честную и трудную (sic) жизнь, желаю Вам всего лучшего и, главное, здоровья, в котором Вы так нуждаетесь... Если Вы позволите, то из Сибири я Вам напишу".

6

В начале июля 1877 года, после двухлетнего заключения в московских тюрьмах, Ковнер переводится на несколько дней в помещение пересыльной тюрьмы для отправки по этапу в Сибирь.

"Несмотря на образцовый порядок в пересыльной тюрьме и на строжайшую дисциплину, новое место временного заключения произвело на меня потрясающее впечатление", — писал он в своих "Тюремных воспоминаниях". — "Страшный звон цепей, сотни наполовину бритых голов, уродующих человеческий образ, громадные балаганы, в каждом из которых помещалось по 500 человек, — все это ошеломило меня, хотя я прибыл из тюремного замка, далеко не образцового в отношении чистоты и гигиенических требований".

Но тягостные внешние условия бледнели все же перед новой моральной пыткой, предстоявшей Ковнеру. При отправке из Москвы он должен был подвергнуться общему для всех арестантов податных сословий правилу закандаления. В своих

тюремных записках он оставил жуткое описание этого обряда, напоминающее знаменитую страницу из "Последнего дня приговоренного" Виктора Гюго, изображающего аналогичную тюремную сцену (Le ferrage des forcats).

"Зная, что во время переезда из Москвы в Нижний арестантов податных сословий заковывают в "наручные", то есть в ручные кандалы, я старался всеми силами как-нибудь избавиться от этого страшного, как казалось мне, мучения и позора". Но усилия оказались тщетными. Отправка арестантов шла своим неумолимым путем.

... "В наручные!". Чаще всего раздавался возглас при приеме арестантов. Это означало, что осмотренный арестант должен быть закован в ручные кандалы. Арестанты проходили через цепь солдат, которые надевали на них железные браслеты.

"Когда очередь дошла до меня, я сильно побледнел. Советник губернского правления, видя, что я одет довольно прилично, в своем платье, принял было меня за привилегированного, но сидевший за тем же столом писарь, справившись со статейным списком, произнес обычную фразу: "В наручные". Доктор, как мне показалось, посмотрел на меня с некоторым сомнением, но конвойный офицер почему-то злобно смерил меня с ног до головы глазами и громко повторил: "В наручные". Сердце у меня дрогнуло, и я шатаясь отошел от стола и направился в цепь. Зловещий возглас "В наручные!" повторялся вслед за мной на разные лады... Дрожа я подошел к следившему за мной солдату и протянул руку. Он надел на меня кольцо и глазами стал подыскивать кого-нибудь из арестантов для "пары". Дело в том, что заковывали по два человека вместе: одному надевали железное кольцо на правую руку, а другому на левую, причем между кольцами имелась цепь длиной всего в пол-аршина, и таким образом "пара" оставалась неразлучной в продолжение всего пути. Для непривычного человека "железный" союз составляет настоящую пытку"...

В пути арестанты подвергались постоянным обыскам, а иногда, как это случилось с Ковнером, и "перековкам". Его товарищ был отделен от партии в шестидесяти верстах от Москвы, после чего Ковнер был закован на обе руки. В этом состоянии,

как важнейший преступник, он был доставлен в нижегородскую пересыльную тюрьму, которая показалась ему — даже после московских мест заключения — каким-то Дантовым адом.

К счастью пребывание здесь было кратковременно.

Из нижегородской пересыльной тюрьмы арестантов отправляли на баржах в дальнейший путь. Помещение под палубой представляло собой тесную, темную и душную плавучую тюрьму. На палубу арестантов выпускали лишь на краткую прогулку. Во время этой переправы произошел следующий характерный разговор.

"Когда нас выпустили на палубу для прогулки, офицер, увидя меня в своем платье среди кандалщиков и бритых голов, подозвал меня и спросил:

— Ты мастеровой, что ли?

— К сожалению, только литературный, — ответил я.

— Как так? — удивленно спросил он.

— Да, я литературный мастеровой, — повторил я, и в коротких словах я ему рассказал о своем прошлом.

— Как же вы непривилегированный? — продолжал он недоумевать.

— К сожалению, литературное ремесло не дает никаких привилегий, — проговорил я. — В особенности, приходится об этом сожалеть во время этапа... — прибавил я и тут же высказал свою просьбу о переводе меня в "дворянскую" каюту.

— Хорошо, я распоряжусь, — проговорил офицер и удалился.

Не прошло и пяти минут, как ко мне подошел унтер-офицер, приглашая перейти в дворянскую. Я, разумеется, поспешил воспользоваться этой милостью".

Из Перми, где Ковнер пробыл в пересыльной тюрьме шесть дней, арестантов отправляли в дальнейший путь на "тройках", по шесть человек на каждой. Переезд этот выпадал как раз на самое жаркое время, когда совместная езда пяти-шести "троек" поднимала целые тучи удушливой пыли. "Трудно себе представить мучительное состояние этих несчастных арестантов, закованных по рукам и ногам, сидевших в тесноте по

шесть человек на подводе и жарившихся на июльском солнце с раннего утра до позднего вечера”.

Через Екатеринбург, через Тюмень, долгим мучительным путем, беспрестанно испытывая на себе беспощадность этапного начальства, немилосердно заключавшего его в кандалы, и безжалостность товарищей-арестантов, беспрестанно обкрадывавших его по пути, Ковнер достигает наконец места своего освобождения — Тобольска. Почти у цели своего странствования он переживает еще один удар. В Тюмени, во время обыска, у него отнимают связку старых газет с его статьями, которые в течение пяти-шести лет тщательно оберегались им в самых трудных житейских условиях. На все его мольбы вернуть ему “этот никому не нужный хлам”, следовал грозный окрик начальства:

— Арестантам чтение не полагается!

“Так и пропали для меня мои литературные работы, которые были мне очень дороги и которых в Сибири я нигде не мог достать”...

Но освобождение уже было близко.

7

“Около двух часов дня я увидел издали Тобольск, конец моей *Via dolorosa*. Громадная река, высокие горы, сверкающие на солнце белые церкви, гигантские леса в окрестностях — все это производит с первого взгляда весьма приятное впечатление. Но какое разочарование потом!

Странно, что по мере приближения к городу, я вовсе не чувствовал радости, которую представлял себе заранее, думая о моменте, когда наступит свобода. Сердце не забилося сильнее, когда пароход остановился у пристани; оно было спокойно, когда меня высадили на берег и отправили в местный тюремный замок... Наконец, когда явился полицейский чиновник, и, по рассмотрении наших документов, сказал, что мы можем идти; когда я вышел на улицу без стражи, когда после стольких мытарств я очутился на воле, я был далеко не так счастлив, как надеялся быть.

Мною овладело тяжелое, гнетущее чувство. Мне самому трудно было объяснить состояние своего духа в первые минуты наступившей свободы. Ближайшими причинами этого состояния были: во-первых, страшная физическая и нравственная пытка пережитого этапа, во-вторых — сознание, что я очутился буквально на улице. В незнакомом городе, без средств к жизни, без цели и надежды впереди, без родного, близкого человека, от которого можно было бы услышать ласковое, ободряющее слово. В эти первые минуты моей свободы в моем мозгу пролетело все мое прошлое, все хорошее и скверное, мною пережитое, предстало беспомощное, неопределенное настоящее, и грозным призраком представилось ближайшее будущее. Радоваться было нечему...

Это горькое пробуждение в первые минуты моей свободы послужило мне началом новой жизни, в которой, правда, было много борьбы и лишений, но и немало радости. Несмотря на то, что я был выбит из колеи, я впоследствии пережил много умственных и душевных наслаждений, испытал и любовь, и счастье, что так редко выпадает на долю лиц, выброшенных в Сибирь и прошедших скорбный путь”.

Вскоре Ковнер переселяется из Тобольска в Томск, где у него сохранялись некоторые знакомства.

Начинался новый жизненный этап. После долгих житейских, литературных и нравственных скитальчеств наступала пора более зрелого, спокойного и осмысленного существования. Ковнер уже приближался к своему сороковому году. Пора было точно определить линию своей жизни, осознать до конца свое исповедание, и если не принять какой-либо “ярлык”, то явственно “формулировать свой идеал”, как советовал ему Достоевский.

Вторая половина жизни Ковнера, в отличие от его бурной, суетливой и несчастной молодости, проходит в тени, незаметно, бесшумно, но с несомненным углублением его духовной жизни и достижением, наконец, личного счастья, озарившего его преклонные годы.

ДОРАШТУРМАН
"НАШ НОВЫЙ МИР"

Теория. Эксперимент. Результат.

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате с начала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность "подпольного анализа". Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги — 460 страниц. Цена — 15 долларов (в Израиле — 20 шекелей). Пересылка: в Израиле — 1,4 шек.; в Европу и США морской почтой — 1,7 долл.; авиапочтой: в Европу — 2,5 долл., в США — 3,5 долл. Книгу можно получить, отправив чек по адресу: S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot, Jerusalem 93802, Israel, Tel. 02/721633

Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА

Предварительная подписка на
издание второе исправленное и дополненное

Цена книги — 21 доллар. Для подписчиков цена, включая доставку заказной бандеролью морем — 16 долл, авиапочтой — 17,5 долл. Некоторое повышение стоимости книги вызвано увеличением ее объема, в основном, за счет **НОВЫХ** анекдотов, богатых событиями 1985-1986 гг.

Чеки посылать по адресу:

S.Tictin, 422/6 Misrakh Talpiot. Jerusalem 93802, Israel

Просьба к подписчикам сообщать свой подробный адрес.

КНИГА ВЫЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ 1987 ГОДА

Предлагаемый читателю очерк Павла Пагануцци "Дочь царя или самозванка?" рассказывает об одной из крупнейших мистификаций нашего столетия. И хотя многие факты из биографии претендентки на русский престол Анны Чайковской были опубликованы, тем не менее, очерк представляет большой интерес. Прежде всего потому, что автор приводит малоизвестные подробности убийства царской семьи.

Павел ПАГАНУЦЦИ

ДОЧЬ ЦАРЯ ИЛИ САМОЗВАНКА?

Историко- критический очерк

Под давлением своих недальновидных советников 3/16 марта 1917 года отрёкся от престола император Николай II Александрович, и Россия была повергнута в хаос безвластия, а затем в кровавые беззакония революции.

66 лет тому назад большевики совершили одно из самых мрачных своих преступлений: в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге, на Урале, была убита вся царская семья, причем преступление носило характер жестокости. Пролитая красными изуверами кровь в доме Ипатьева, по словам одного русско-советского интеллигента, приславшего в зарубежье последний снимок "дома особого назначения", стала истоком рек, морей и океанов, в изобилии затопивших горькую русскую землю.

17 февраля 1920 года девушка или молодая женщина лет двадцати бросилась в воды Ландверского канала, в Берлине, но была спасена полицией. Так родилась легенда об избавлении великой княжны Анастасии Николаевны из Екатеринбургского застенка.

Очерк публикуется с любезного разрешения журнала "Кадетская переключка" (№ 38) . Печатается с сокращениями. Заголовок редакции.

В этом очерке будет излишне подробно заниматься биографией претендентки, которая и так хорошо известна широкой публике по многочисленным книгам и другим публикациям. Поэтому совсем коротко проследим ее жизненный путь. А затем, на основании свидетельских показаний, рассекреченных ныне "Протоколов сибирского следствия" и логических заключений, сделаем соответствующие выводы и поставим вопрос: существует ли какая-то, хотя бы микроскопическая возможность поверить, что в лице Чайковской-Анны Андерсон-Манаган мы на самом деле видели младшую дочь императора Николая II?

Спасенную женщину отправили в госпиталь, где доктора пытались установить причину ее поступка, но она упорно молчала. Тогда ее отправили в госпиталь для душевнобольных.

В марте 1922 года немка, по имени Клара Петерт, жившая до революции в Петрограде и выпущенная из того же госпиталя, явилась в русскую церковь в Берлине и произвела переполох: она сообщила, что вместе с ней в госпитале находилась царская дочь. Вызвали баронессу С.К.Букгевден, бывшую фрейлину государыни, но больная продолжала молчать.

Нужно сказать, что в начале появления претендентки ее принимали за великую княжну Татьяну Николаевну. Но вскоре на сцене появился балтийский барон Артур фон Клейст, в прошлом полицейский чиновник в Царстве Польском. Вместе с женой он посетил больную. После свидания Клейст рассказал, что пациентка довольно решительно заявила им, что она является на самом деле великой княжной Анастасией Николаевной.

Далее она рассказала сверхфантастическую историю своего избавления. Ее, тяжело раненую, якобы, спас какой-то солдат охраны дома Ипатьева. И с его семьей ей удалось пробраться через Урал и всю европейскую Россию, перейти румынскую границу и достичь Бухареста. С этим солдатом претендентка прижила ребенка, который умер, а солдат погиб при таинственных обстоятельствах в Бухаресте. Из Румынии в одиночку она достигла своей конечной цели — Берлина. Больная назвала имя своего таинственного избавителя: Александр Чайковский. Так она получила свое первое имя Чайковской.

Наконец здоровье больной улучшилось до такой степени, что ее выпустили из больницы и она несколько лет подряд перебиралась с места

на место, нигде долго не задерживаясь. А молва о спасении великой княжны Анастасии Николаевны или, во всяком случае, одной из дочерей императора Николая Второго, распространяется по всей Западной Европе, и повидать ее, чтобы лично убедиться, что она из себя представляет, приезжают люди, знавшие великих княжен или думавшие, что они их знали. Среди них были: сестра государыни принцесса Прусская; Александр Волков, камердинер царицы; Пьер Жильяр; А.А.Теглева, няня царских детей; великий князь Андрей Владимирович; бывшая великая княжна Ольга Александровна Куликовская, сестра государя; Т.Е.Боткина, дочь царского лейб-медика доктора Боткина, погибшего с царской семьей; герцог Георгий Лейхтенбургский; Сидней Гиббс и многие другие. Во время войны под одним кровом с претенденткой, в доме своего двоюродного брата, герцога Саксен-Альтенбургского, проводит несколько дней ныне здравствующая княжна Вера Константиновна, дочь поэта великого князя Константина Константиновича.

Осенью 1927 года Чайковскую приглашают пожить у себя в замке герцог Г.Лейхтенбургский, и сторонники претендентки истолковали это приглашение как признание в ней великой княжны. Жена и дети герцога относились неприязненно к Чайковской, между ними постоянно происходили ссоры. Претендентка иногда довольно решительно предупреждала своих хозяев, чтобы они не забывали об ее царском происхождении. В конце концов столкновения в замке достигли таких размеров, что ей пришлось его покинуть.

Приблизительно в это время американская пресса направила в Германию Глеба Боткина*, чтобы проинтервьюировать "Анастасию". Эта встреча во многом повлияла на будущую жизнь Чайковской. Боткин передал ей приглашение княгини Ксении Георгиевны, дочери великого князя Георгия Михайловича (а тогда замужем за В.Лидсом), провести у нее некоторое время.

В начале 1928 года для Чайковской выхлопотали временную визу, и она прибыла в Нью-Йорк, где была встречена миллионершей Анной Дженнингс, в роскошном доме которой она провела около трех недель, пока не вернулась из путешествия Ксения Георгиевна.

В доме своей новой хозяйки Чайковская долго не ужилась,

* Глеб Боткин — сын лейб-медика д-ра Боткина. В США он основал "Храм Афродиты", провозгласив себя верховным жрецом.

начались ссоры. Причин на это было достаточно, а причины для ссор претендентка находила быстро.

В августе 1928 года с целью "избавиться от назойливых журналистов", Чайковская зарегистрировалась под именем Анны Андерсон и таким образом получила второе имя, которое долго за ней задержалось. Провозгласив себя царской дочерью, Анна Андерсон решает добиваться получения фантастических денежных вкладов, которые якобы император Николай II сделал до начала первой мировой войны в европейские банки. Многим западным исследователям и авторам книг не дает покоя "фантастическое богатство" последнего русского царя, которое некоторые произвольно расценивали в 20-25 миллиардов долларов.

С самого начала революции в Западной Европе упорно распространялись слухи, что Николай II заблаговременно перевел огромные суммы денег в английские и немецкие банки. И вот Анна Андерсон нанимает адвокатскую контору, которая должна была сначала добиться признания Андерсон как царской дочки, а после этого, вероятно, завладеть царскими вкладами. Они создали что-то наподобие акционерного общества под названием Grandanor Corporation — "Grand Duchess Anastasia Nikolaevna of Russia" с Боткиным во главе.

Война застала Андерсон на востоке Германии и, после капитуляции она очутилась в советской зоне. С немалым трудом вызволил ее оттуда ее горячий поклонник принц Фредерик Альтенбургский, пока большевики не сообразили, кто находится в их когтях.

Вскоре в Голливуде создается фильм "Анастасия" с Ингрид Бергман и Ю.Бринером. Противно фактам, в фильме Мария Федоровна признает в претендентке свою внучку. Анна Андерсон получает за это несколько десятков тысяч, хотя фильм этот принес его создателям пять миллионов долларов. На эти деньги она строит себе что-то наподобие дачи, огораживается провололочным забором, разводит десятки кошек и живет под защитой свирепых волкодавов, мало заботясь о своих животных и санитарных условиях своего участка.

И тут на сцене появляется новый персонаж, еще более запутавший фантастическую историю спасения царской дочери, расстроивший надолго планы Андерсон. В 1977 году русский журнал "Согласие" (Ка-

лифорния) издал брошюру "Как погибла царская семья". В ней австрийский военнопленный Иоганн Майер, представлявшийся как видный член большевистской партии в Екатеринбурге, утверждал, что он имел непосредственное отношение к цареубийству.

При изучении протоколов сибирского следствия нами обнаружен очень интересный документ: полный список всех лиц, прямым или косвенным способом замешанных в убийстве царской семьи, как и список всех большевистских главарей Екатеринбурга и окрестностей. Имени Майера в нем не оказалось.

Далее, без особого труда удалось установить подробности из жизни Иоганна Майера. Был он действительно в русском плену, научившись хорошо говорить по-русски. В период цареубийства он находился в Екатеринбурге, но не имел никакого отношения к злодеянию. Освободившись из плена и попав в Берлин, он, на всякий случай, подделал ряд документов. Выдал его приятель, сидевший с ним в плену, — Отто Стефан. Узнав, что идет борьба между сторонниками и противниками Чайковской-Анны Андерсон и намечается судебный процесс, Майер пришел к заключению, что можно заработать и настало время действовать. Он вступил в контакт с адвокатом претендентки, предлагая за высокую мзду свидетельствовать, что великая княжна не была убита и спаслась из дома Ипатьева. Но запросил Майер слишком много, и сделка не состоялась.

Не прошло и года, как он явился в редакцию немецкого популярного журнала "7 Tage" ("Зибен Tage") и предложил свою рукопись, в которой описывал совершенно обратное: теперь Майер утверждал, что в Екатеринбурге погибла вся царская семья, включая великую княжну Анастасию. Соблазн был велик и "7 Tage" напечатал ряд майеровских статей.

На основании свидетельства Майера Анна Андерсон проиграла процесс. Майер умер в том же году, а в 1964 году Гамбургский апелляционный суд установил, что все сообщенное Майером в "7 Tage" является фальшивкой. Несколько раз суд рассматривал дело Анны Андерсон, не будучи в состоянии вынести какое-либо решение. Да на это и имелись веские основания. Преступление было совершено в другой стране за тысячи миль от места процесса, суд не был в состоянии привлечь достаточного числа нужных свидетелей, не мог использовать протоколы сибирского следствия.

Анна Андерсон тем временем опять перебралась в Соединенные Штаты и на склоне лет вышла замуж за богатого профессора Джона Манагана, который был чуть ли не на 20 лет младше Анны Андерсон. Таким образом претендентка получила свое третье и последнее имя: М а н а г а н.

В 1981 году в местной газете Шарлотесвилля (Вирджиния) появилась любопытная статья с фотографией г-жи Манаган в медицинском кресле, с описанием торжества по поводу "восемидесятилетия великой княжны Анастасии". На торжественном приеме было много гостей и среди них Ирина Швейцер-Боткина.

Постепенно "Анастасия" Манаган привела свое новое роскошное имение в полное запустение. Прекрасную виллу огородила проволокой, окна забила картоном, а лужайки засорила пнями, мусором и развела опять кошек. В последующие два года она не меняла образа жизни, подчинив своим привычкам слабовольного и преданного мужа. Здоровье ее постепенно ухудшалось. На жалобы соседей городские власти неоднократно призывали Манаганов к ответственности за несанитарные условия на их участке и в роскошной вилле. В доме развились паразиты, и профессор Манаган, искусанный клещами, заболел *with Rocky Mountain spotted fever**, из-за чего был спешно отправлен в госпиталь. Его жену нашли в доме в совершенно истощенном виде. После этих событий опекунский суд нашел, что профессор Манаган в состоянии заботиться только о себе и отправил его жену в госпиталь для престарелых. Это было большим ударом для Манаганов, которые успели крепко привязаться друг к другу. Через месяца полтора после случившегося пришедший в отчаяние профессор выкрал собственную жену, с которой его разлучили силой. В газетах появились сенсационные статьи об исчезновении претендентки в царские дочери. Организована была погоня, и беглецов вскоре настигли, водворив жену профессора на прежнее место.

Это было последним испытанием, которого "Анастасия" Манаган не смогла пережить, и вскоре наступил конец. Февральские газеты принесли печальное известие о том, что она скончалась 12 февраля 1984 года в Шарлотесвилле.

В конце июня урна с прахом претендентки прибыла в Германию и состоялись похороны в присутствии мужа покойной, герцога Фридриха Альтенбургского и многочисленных журналистов.

* Риккетсиоз, "Крысиный тиф".

Так закрылась последняя страница жизни женщины, которая при поддержке тайных и явных последователей на протяжении шестидесяти лет упорно и упрямо добивалась, чтобы мир признал ее за царскую дочь.

Кто же все-таки признал и признает в Чайковской-Анне Андерсон-Манаган великую княжну Анастасию, а кто отвергает ее как ловкую самозванку?

Сторонники "Анастасии" не дают нам логичного и приемлемого объяснения: как же все-таки великая княжна Анастасия Николаевна осталась живой после бойни в доме Ипатьева? Какая сверхестественная сила ее, израненную, вырвала из чекистских когтей, а затем перенесла через Урал, всю европейскую Россию, охваченную революцией и огнем гражданской войны, часть Восточной Европы, чтобы выбросить на поверхность в Берлине? Сторонники самозванки этот очень важный вопрос просто избегают: спаслась, да и только!

Главной свидетельницей в пользу Чайковской-Андерсон-Манаган является Т.Е.Боткина, живущая теперь под Парижем. Вот что писала она мне в одном из писем:

"Если бы вы на минутку смогли вообразить себя на моем месте, то есть на месте человека, который признал Анастасию Николаевну не по фотографиям, не по одному свиданию, а также по разговорам, которые кроме нее никто не мог знать".

В другом письме, на отдельном листке, Боткина описала мне свои встречи с великой княжной Анастасией, озаглавив их "Годы и месяцы свиданий Татьяны Боткиной с великими княжнами Марией и Анастасией Николаевной". Внимания заслуживают встречи летом 1916 года: Боткина работала на складе медикаментов в Царкосельском дворце и изо дня в день в течение трех месяцев сидела около трех часов за столом против Анастасии. Но не следует забывать, что Боткиной было тогда всего 15 лет, а в этом возрасте чувство наблюдательности вряд ли достаточно развито.

Сторонники самозванки зачисляются в свой лагерь также герцога Г.В.Лейхтенбергского только потому, что он пригласил пожить ее у себя в замке. На самом деле герцог никогда и нигде не высказывался в пользу Чайковской.

Великий князь Андрей Владимирович был действительно горячим сторонником претендентки, хлопотал за нее, старался убедить других Романовых, особенно Ольгу Александровну Куликовскую, сестру государя. Под конец и он в этом покаялся.

Главными противниками-свидетелями против самозванки были два педагога: Сидней Гиббс и Пьер Жильяр, занимавшийся изо дня в день с царскими детьми много лет подряд почти до самой их насильственной смерти. Никто кроме них не мог так точно запомнить черты лица, манеры держаться, голос и особенности своих воспитанниц. Сидней Гиббс провел десять лет при дворе в качестве репетитора царских дочерей и лучше всех других свидетелей знал великих княжен, а особенно Анастасию Николаевну. Его впечатление от встречи с Анной Андерсон настолько важно и уничтожающе для самозванки, как он ее назвал, что мы приводим его почти целиком:

"В 1908 году я был назначен учителем, английского языка к детям Его Императорского Величества Николая II и жил при царской семье в России десять лет. Ввиду моего положения я знал хорошо царских детей и видел их ежедневно. При моих дневных контактах я был особенно хорошо знаком с чертами лица великой княжны Анастасии, с цветом ее волос.

30 ноября 1954 года я отправился в Париж для встречи с особой, которая теперь называет себя великой княжной Анастасией. После обеда был позван в комнату так называемой великой княжны Анастасии и ее немецкой компаньонки. Так называемая великая княжна Анастасия смотрела на меня с подозрением поверх газеты, которую она держала все время перед своим лицом так, что только ее глаза и волосы были видны. Эту тактику она употребляла каждый раз, не давая мне разглядеть ее лицо. Из-под газеты она протянула мне ладонь и дала пожать концы пальцев. Ее черты, которые я все-таки мог рассмотреть, ни в коей мере не отвечали чертам лица настоящей великой княжны, даже если принять во внимание прошедшее от 1918 года до 1954 года. Великая княжна Анастасия никак не могла превратиться в женщину, которая теперь называла себя великой княжной.

Так называемая великая княжна не показала никакого интереса ко мне, меня не узнала, вопросов мне не задавала и едва отвечала на мои. Было ясным, что она не знала ни русского, ни английского языков, на которых говорила царская семья, но говорила по-немецки, на котором великая княжна Анастасия не говорила. Я узнал, что она возит с собой 2000 фотографий и почтовых карточек. При последней нашей встрече я

имел возможность приблизиться к ней и рассмотреть все ее лицо и особенно правое ухо. Ее правое ухо ни в коей мере не отвечает форме правого уха настоящей великой княжны Анастасии, как оно выглядело на принадлежащей мне фотографии. Она никак не похожа на настоящую великую княжну Анастасию, которую я знал, и я удовлетворен признать в ней самозванку".

Пьер Жильяр уже с 1905 года начал учить великих княжен французскому языку, а с 1912 и наследника. С царской семьей верный Жильяр, как и Гиббс, не расставался до конца, до того дня, когда их заключили в дом Ипатьева. Жильяр без колебания назвал Чайковскую-Андерсон самозванкой. Не признала в ней царскую дочь и ее няня А.А.Теглева, впоследствии жена Жильяра. Сестра государя Ольга Александровна Куликовская, которую мне пришлось встретить в Торонто в 1953 году, была любимой тетей царевен. Она их знала с детства и даже приезжала во дворец, чтобы купать. Великие княжны из заточения писали ей трогательные письма, справляясь о недавно родившемся сыне Тихоне. Некоторые незадачливые авторы пытались инкриминировать Ольге Александровне четыре письма, написанные ею Чайковской, в которых якобы есть намек на признание. Мы знаем, как Ольга Александровна отказала великому князю Андрею Владимировичу в повторном свидании с Чайковской и неоднократно долгие годы называла эту женщину самозванкой.

Теперь перенесемся в Екатеринбург на Урале и рассмотрим: существовала ли какая-то реальная возможность великой княжне Анастасии избежать смерти во время убийства в доме Ипатьева и бежать из Советской России. Те, которые берутся утверждать или предполагать, что кто-то из членов царской семьи мог спастись, делают это злонамеренно или не уясняют себе сущности, характера, структуры и методов власти, совершившей это страшное злодеяние. Нельзя было больше пролить человеческой крови, чем это сделали большевики под водительством Свердлова, Ленина, Троцкого, Зиновьева и красного сверхпалача Дзержинского в первые годы революции. И мы поделимся с читателем жуткой статистикой, сделав подходящее сравнение. В то время как при царском режиме за последние сто лет, то есть от 1817 до 1917, было казнено 977

лиц, главным образом убийц, большевики умудрились за первые пять лет своего кровавого режима ликвидировать 1.861.568 человек*. Естественно, что при такой бесчеловеческой власти никто из членов царской семьи не мог ожидать пощады. В центре, то есть в Москве, было решено ликвидировать всех Романовых, где бы они ни находились и какую бы роль до революции не играли. Был расстрелян, несмотря на заступничество Максима Горького, хороший историк, левый либерал и оппозиционер престолу великий князь Николай Михайлович. Позднее большевики явно признали, что каждый живой Романов мог стать очагом сопротивления советской власти. И в Екатеринбург полетело приказание, под страхом смерти, уничтожить всю царскую семью.

Белые войска адмирала Колчака и чехи пришли в Екатеринбург буквально по следам большевиков, которые бежали в панике, оставив много следов своего преступления. Сразу же началось следствие, которое возглавил Наметкин, затем судья Сергеев и, наконец, эксперт своего дела, неутомимый и энергичный следователь по особо важным делам Николай Алексеевич Соколов. Он получил от адмирала Колчака специальные полномочия и в его работу никто не имел права вмешиваться. Следствию оказал большую помощь один из выдающихся военачальников Первой мировой войны, а теперь командующий западным сектором антибольшевистских сил генерал М.К.Дитерихс. Помогал Соколову и английский журналист полковник Вилтон, живший вместе со следователем в тайге на месте розыска, где в шахту были брошены уничтоженные тела.

Следственные протоколы (допросы виновных, свидетелей и разные другие данные, которые были собраны в дело под названием "Предварительное следствие об убийстве бывшего императора Николая Второго") писались на машинке в двух экземплярах. Несколько позднее, когда Соколов с Делом был принят генералом Дитерихсом в его поезде, 6 декабря 1919 года, была сделана еще одна копия для генерала.

* Weekly Review Intelligence Digest, United Kingdom, March 30, 1983.

При отходе Белой Армии с Урала решено было одну копию или оригинал доверить полковнику Роберту Вилтону, так как он имел дипломатический паспорт, а следователь Соколов не очень надеялся, что ему удастся благополучно добраться до Владивостока и выехать в Европу. Вилтон без препятствий прибыл в Лондон, и уже в 1920 году вышла его книга об убийстве царской семьи. Однако Соколову при помощи генерала Дитерихса, главнокомандующего французскими силами генерала Жанена и других лиц удалось преодолеть длинный путь через Сибирь и после многих мытарств достичь Парижа. Его книга вышла уже после его смерти, последовавшей в 1924 году. Копия Роберта Вилтона его вдовой была продана на аукционе и наконец попала в собрание редких рукописей библиотеки Гарвардского университета. Дочь Соколова, попав в затруднительное материальное положение, продала копию своего отца совсем недавно одному известному русскому музыканту. А копия генерала Дитерихса была дарована специальному архиву одной национальной русской институции.

За последние полвека на Западе появилось много книг, посвященных судьбе царской семьи, в которых, как по стандарту, описывались в разных вариантах фантастические истории спасения отдельных членов царской семьи, а иногда и самого государя. Но самой популярной была версия спасения царской дочери.

А чтобы легче убедить читателей в своей правоте, нужно было как-то дискредитировать следственную работу Соколова, даже очернить его не только как бесчестного следователя, но и как человека*. Не предполагая, что найдутся лица, которые попытаются свести к нулю всю титаническую работу, которую он вел на глазах свободного мира в Сибири и закончил в Париже, Соколов выпустил некоторые показания ключевых свидетелей, так как его книга была рассчитана на рядового читателя. Этим он дал повод некоторым авторам обвинить его в недобросовестности и подделке материалов следствия. По приказанию антибольшевистского начальства он якобы должен был во что бы то ни стало, "вопреки фактам" доказать гибель всех членов царской семьи.

* Подробно в книге того же автора "Правда об убийстве царской семьи, Джоданвилль, Н-Й., 1981.

Ни один из авторов не имел и понятия, где находится материал предварительного следствия, из которого объективный следователь мог получить представление о совершенном в Екатеринбурге преступлении. Наконец место хранения копии Р.Вилтона стало известным и туда отправились два английских журналиста, которые написали шумевшую книгу "The File on the Tsar", пестрящую неточностями и лживыми обвинениями против Соколова и Белых. Вся беда этих журналистов заключалась в том, что они не знали русского языка, на котором предварительное следствие было записано. Когда пишущий эти строки попал туда по их следам, то узнал, что они пригласили для перевода текста не эксперта, который мог бы разобраться в русском юридическом языке, да еще напечатанном по старой орфографии, а лицо, посредственно знающее русский язык. И каков был переводчик, таков и перевод.

А теперь, на основании протоколов предварительного следствия постараемся восстановить в главных чертах картину преступления и указать на важные факты, подтверждающие, что в доме Ипатьева погибла вся царская семья. Судье Сергееву, к которому авторы "Досье на царя" питают большую симпатию и доверие, стало известным, что один из цареубийц, Павел Медведев, задержан. Однако по ходу событий Сергеев первой допросил его жену Марию, после чего она была освобождена, несмотря на то, что у нее обнаружили часть царского имущества, украденного в доме Ипатьева после совершенного преступления. Приводим ниже важнейшие места из ее показания, данного судье Сергееву 9-10 декабря 1918 года:

"Оставшись наедине со мной, муж объяснил мне, что несколько дней тому назад царь, царица, наследник, все княжны и слуги царской семьи, всего 12 человек, убиты... Стрелял и мой муж: он говорил, что из сисертских принимал участие в расстреле только один он".

Павел Медведев был допрошен И.А.Сергеевым 21-22 февраля 1919 года.

Протокол допроса начинается следующим образом:

Член Екатеринбургского окружного суда И.А.Сергеев допрашивал нижепоименованного в качестве обвиняемого, с соблюдением 403-405 ст. Уг. суд., предъявив ему обвинение в

преступлении, предусм. 13 и 1453 ст. Ул. о Нак., формулированное в постановлении моем от сего февраля, причем допрашиваемый показал: "Я, Павел Спиридонович Медведев, 31...

Далее Медведев описал судье Сергееву убийство царской семьи:

"Вечером 16 июля я вступил в дежурство, и комендант Юровский часу в восьмом того же вечера приказал мне отобрать в команде и принести ему револьверы... Тогда Юровский объявил мне: "Сегодня придется всех расстрелять; предупреди команду, чтобы не тревожились, если услышат выстрелы".

В нижнем этаже дома Ипатьева находились латыши из латышской коммуны, поселившиеся тут после вступления Юровского в должность коменданта; было их человек десять.

Часов в 10 вечера я предупредил команду, согласно распоряжению Юровского. О том, что предстоит расстрел царской семьи я сказал Ивану Старкову. Часов в 12 ночи Юровский разбудил царскую семью. Утверждаю, что в комнаты, где находилась царская семья, заходил именно Юровский. Приблизительно через час вся царская семья, доктор, служанка и двое слуг встали, умылись и оделись. Еще прежде чем Юровский пошел будить царскую семью, в дом Ипатьева приехали из Чрезвычайной комиссии два члена: один — Петр Ермаков, а другой — неизвестный...

Часу во втором ночи вышли из своих комнат царь, царица, четыре царских дочери, служанка, доктор, повар, лакей; наследника царь нес на руках. Государь и наследник были одеты в гимнастерки, на головах фуражки; государыня и дочери были в платьях. Впереди шел государь с наследником. Сопровождали их Юровский, его помощник и указанные мною два члена Чрезвычайной комиссии, я также находился тут.

При мне никто из членов царской семьи никаких вопросов никому не предлагал, не было также ни слез, ни рыданий... Привели в угловую комнату нижнего этажа... Видимо, все догадывались о предстоящей им участи, но никто не издавал ни одного звука. Одновременно в эту же комнату вошли одиннадцать человек: Юровский, его помощник, два члена Чрезвычайной комиссии и семь человек латышей. Юровский выслал меня, сказав "сходи на улицу, нет ли там кого и не будут ли слышны выстрелы". Я вышел в огороженный большим забором двор и, не выходя на улицу, услышал звуки выстрелов. Тотчас же вернулся в дом (прошло всего две-три минуты времени) и, зайдя в комнату, где были произведены расстрелы, увидел, что все члены царской семьи: царь, царица, четыре дочери и наследник — уже лежат на полу с многочисленными ранами на телах; кровь текла потоками. Были также убиты доктор, служанка и двое слуг; при моем появлении наследник был еще жив — стонал; к нему подошел Юровский и два-три раза выстре-

лил в него в упор. Картина убийства, запах крови вызвали во мне тошноту.

Перед убийством Юровский раздал всем наганы, дал револьвер и мне, но, я повторяю, в расстреле не участвовал. По окончании убийства Юровский послал в команду за людьми. Приведенные мною люди сначала занялись переноскою трупов убитых на поданный к парадному подъезду грузовой автомобиль. Трупы выносили на носилках, сделанных из простыней... Сложенные в автомобиль трупы завернули в кусок солдатского сукна. На грузовик сели Петр Ермаков и другой член Чрезвычайной комиссии и увезли трупы..."

На основании этого допроса, не Соколов, а член Екатеринбургского окружного суда И.А.Сергеев постановил:

1. Что по собранным следствием данным событие преступления представляется доказанным.

2. Что бывший император Николай II, бывшая императрица Александра Федоровна, наследник-цесаревич, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Николаевны убиты одновременно, в одном помещении многократными выстрелами из револьверов.

3. Что тогда же и при тех же обстоятельствах убиты состоявший при царской семье лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, комнатная служанка Анна Демидова и слуги Харитонов и Трупп.

4. Что убийство задумано заранее и исполнено по выработанному плану, что сопровождалось оно такими действиями, которые носили характер жестокости и особенных мучений для жертв преступления, причем убийцы завладели имуществом убитых.

5. Что соучастие Павла Спиридоновича Медведева в совершении означенного преступления по уговору и сообща с другими лицами представляется доказанным.

Член окружного суда Ив.Сергеев.

Авторы упомянутой книги не сообщают вообще об обширном, в тридцать одну страницу протоколе допроса свидетеля прокурора Пермского окружного суда П.Я.Шамарина, как и его другое заявление. В нем, сообщая о задержании сыщиком Алексеевым убийцы Павла Медведева, Шамарин говорит следующее:

"Я не решился доверять никому наблюдение за допросом Медведева и принял его на себя. Я старался представить ему полную свободу в объяснениях, не допуская ему наводящих вопросов... Медведев старался свалить часть вины на других и затушевать собственное участие. Слушая Медведева, я был убежден, что убивала, конечно, и его рука".

На основании приведенных фактов, нет никаких сомнений, что Медведев являлся лицом реальным, был участником убийства всей царской семьи, подтвердив следственным властям, что, кроме остальных, и великая княжна Анастасия была зверски убита в ночь на 17 июля 1918 года. Отвергнуть Медведева как лицо мифическое значило и отвергнуть его жену Марию, а до этого авторы "Досье на Царя" не додумались.*

Тот же прокурор Шамарин вел наблюдение при допросе другого участника преступления Анатолия Якимова, старшего разводящего дома Ипатьева. Несмотря на то, что обвиняемый упорно утверждал, что он не присутствовал при убийстве, следствие ему не поверило и решило обратиться к его сестре Капитолине Агафоновой-Якимовой, живущей в Екатеринбурге, и она выдала брата.

Ее допросил Сергеев 6 декабря 1918 года. Агафонова показала, что жила с братом очень дружно, хотя Агафоновы у большевиков служить не желали, и Анатолий часто приходил к сестре. "Не помню теперь, какого именно числа в июле месяце брат Анатолий в часу одиннадцатом утра пришел ко мне и сообщил, что уедет на вокзал, а оттуда в Пермь. Вид у брата был измученный, и он очень волновался. Заметив это, я спросила: "Что ты волнуешься, что с тобой, может быть, Николая отправили?" В ответ на это брат попросил закрыть дверь в кухню и волнуясь сообщил мне, что минувшей ночью Николай Романов, вся его семья, доктор, фрейлина и лакей убиты. По словам брата, присутствовавшего при казни, злодеяние было выполнено таким образом..." И тут идет рассказ, подобный показанию Медведева.

*Смерть Медведева подтверждена удостоверением священника Глубоковского К.А., в метрической книге Михаила — Архангельской церкви Екатеринбурга, как это обычно делалось до революции: "Павел Спиридонов Медведев, умер от сыпного тифа 12 марта и погребен 14-го 1919 (по старому стилю).

Про великую княжну Анастасию Якимов сказал сестре, что сразу она не была убита: "Княжна Анастасия притворилась мертвой, и ее также добились штыками и прикладами. Сцены расстрела были так ужасны, что брат, по его словам, несколько раз выходил на улицу. После убийства тела убитых перенесли в автомобиль и увезли в лес. Весь описанный разговор с братом происходил за несколько дней до того, как большевики опубликовали сведения об убийстве Николая Романова", — закончила свое показание Капитолина Агафонова.

Следствию удалось арестовать и третье лицо, замешанное в цареубийстве — охранника Михаила Летемина. В ночь убийства, по его рассказам, он был свободен от дежурства, а когда наутро пришел в дом Ипатьева, то его встретил другой тюремщик Стрекотин. Он стоял в ночь на 17 июля на пулеметном посту в большой комнате нижнего этажа, откуда была видна вся трагедия, разыгравшаяся в ту ночь. Стрекотин описал Летемину картину убийства, подтвердив, что стрелял и Медведев. Рассказывал все Летемин свободно, без страха, так как считал, что в преступлении он лично участия не принимал, пошел в тюремщики, чтобы как-то заработать на жизнь и с большевиками не ушел.

Кроме перечисленных Медведева, Якимова, Летемина, М.Медведевой и Проскурякова перед следственными властями прошло большое количество обвиняемых и свидетелей, тем или иным способом подтверждающих убийство царя и его всей семьи с их верными слугами. Этими показаниями исключается всякая искра надежды, что великая княжна избежала судьбы семьи и появилась на Западе под именем Чайковской.

Но допустим, что фантастическая версия о том, что великую княжну в тяжелом состоянии спасли, была реальной. Но кто и как? Боткина мне писала: "Ее спас солдат из внешней охраны". Хотя она и не имела возможности просмотреть протоколы следствия, но ей следовало знать, что в "охране" дома Ипатьева не было солдат, по-советски красноармейцев. В процессе подготовки злодеяния ЧК сменила старую охрану и во внутреннюю назначила латышей-палачей, а во внешнюю рабочих уральских заводов, большевиков или людей с уголовным прошлым.

Самозванка в 1920 году, как мы уже упоминали, назвала своего избавителя Чайковским. Такого имени во всей охране дома Ипатьева не встречалось. Кто же из этих преступников и убийц мог спасти великую княжну Анастасию?

После расстрела тела убитых грузили на автомобиль под контролем Юровского, Ермакова и другого представителя "Чрезвычайки". В грузовике поехали те же убийцы: Ермаков и его товарищ. Весь город, а особенно окружение Ипатьевского дома находились под контролем отряда чекистов и красноармейцев, жители заранее запуганы и, под страхом смерти, в ту ночь не смели покидать свои дома. Уж не Юровский ли или Ермаков, два самых кровожадных убийцы, превратились в милосердных самарян? Чтобы спасение тяжелораненой Анастасии удалось, должен был существовать хорошо организованный заговор. А такого не существовало. Таким образом, этот вариант спасения царской дочери отпадает как вздорный и абсолютно нереальный.

Будем последовательны и допустим, что кто-то из "сердобольных" чекистов-убийц (а таких за 66 лет существования советской власти мы не знаем) спрятал где-то в городе умирающую от тяжелых ран Анастасию. Через несколько дней приходят запоздавшие спасители "белые" и чехи, начинаются розыски, все переворачивается вверх дном. А спасенная, требующая самой интенсивной медицинской помощи, превращается в какой-то призрак. Таинственный избавитель прячет великую княжну теперь от ее верноподданных, которые бы его озолотили, если бы он явился к ним со спасенной.

А затем начинается долгое и далекое путешествие через Урал. После этого беглецы переходят на большевистскую территорию, путешествуют тысячу километров по советской территории, переходят опять линию фронта, попадают в области под контролем Вооруженных Сил юга России, затем Румыния, Восточная Европа и, наконец, Берлин.

Нужно обладать слишком буйным воображением, чтобы допустить возможность израненной особе проделать такой путь да еще прижить ребенка. Но все сторонники самозванки этим вопросом, как мы уже сказали, просто не интересуются.

Кроме многочисленных вещественных доказательств на месте уничтожения тел было найдено в кострище шесть стальных каркасов от женских корсажей, шесть застежек и от них крючки для шнурков. Хорошо известно, что государыня не позволяла своим дочерям и женскому персоналу ходить без корсетов и, конечно, сама всегда его надевала. Кому же принадлежали эти остатки как не царице, четверем княжнам и Демидовой)

Вопрос знания русского и даже английского языков является важным фактором в установлении личности Чайковской-Андерсон. Мы уже упоминали, что об этом писал и Сидней Гиббс. Кроме него существуют многочисленные свидетели, подтверждающие его утверждение. Великая княжна Анастасия хорошо знала русский язык, весьма грамотно писала, что видно из ее корреспонденции из заточения. Претендентка, хотя и плохо знала немецкий, но думала на нем до конца и мужа Джона называла "Ханс".

Кажется очень странным тяготение самозванки к немцам, к принцам и принцессам немецкой крови, к экскайзеру. Царские дети от их родителей хорошо знали кто их враги. А государь и государыня считали Вильгельма и Германию виновниками бедствия России и их положения. На допросе, в Омске, 27 августа 1919 года учительница царевен Клавдия Битнер показала: "Я удивляюсь ненависти государыни к Германии и Вильгельму. Она не могла без сильного волнения и злобы говорить об этом". В том же духе говорила Александра Федоровна и Жильяру. И эта неприязнь к немцам и Германии не могла не передаться царским детям. Государыня имела на них большое влияние. Самозванка же, наоборот, всячески тянулась и льнула к немцам, к экскайзеру.

И наконец важен вопрос веры. Царская семья была глубоко религиозна. Робер Вилтон в своей книге "Последние дни Романовых" написал ряд теплых строк о последних страданиях государя и его семьи в Екатеринбурге:

"Екатеринбургский период был продолжительным мученичеством для Романовых, все время ухудшавшимся. Тюремщики, поначалу русские с дьявольской изобретательностью мучили своих беззащитных

жертв. Это были грубые, криминального типа пьяницы, подонки, каких только революция могла выбросить на поверхность. Александра была специальным объектом их издевательств. Семья была в страшном положении, особенно страдала Александра. Но их вера в Бога и их любовь друг к другу освещала им кромешную тьму страшной тюрьмы. Над развратными песнями их мучителей плыли звуки Херувимской песни, русского гимна, хвалы небес".

Анна Андерсон-Манаган была совершенно равнодушна к вере. А ведь страдания обыкновенно укрепляют веру.

В заключение следовало бы сказать, что все приведенные в этом очерке факты и неумолимые логические выводы не дают нам никакой надежды поверить, что в лице Чайковской-Анны Андерсон-Манаган мы действительно видим великую княжну Анастасию Николаевну. Вот что по этому поводу писал мне профессор Е.Е.Алферьев, бывший член монархической партии при Высшем монархическом совете в Париже, в двадцатые годы:

"Чайковская являлась креатурой наших правых кругов, вначале даже той монархической партии, которая возглавлялась Высшим монархическим советом. Ведь в то время было так тяжело примириться с ужасающей действительностью, что люди хватались за любую соломинку. И когда прошел слух, что спаслась царская дочь, ничего не проверив, люди бросились сломя голову ее приветствовать. Случайно оказалось, что Чайковская обладала недюжинным талантом авантюристки и чрезвычайно осторожно и ловко принялась играть ту роль, которую ей старательно навязывали. Во всяком случае план самозванки был задуман давно, не оставлен он и поныне".



ЭДГАР

В 78-м году Алан Воске писал, что в метафизической живописи Михаила Шемякина космические масштабы соседствуют с глубокой психологией и психоанализом. А за два года до этого Андрей Синявский с присущей ему парадоксальностью мысли заметил, что в его сознании живопись Шемякина ассоциируется с птицами, птичьим оркестром, птичьим балетом, с танцами птиц. Критик Завалишин утверждает, что Шемякин продолжает традиции Кандинского, что его краски — это музыка, романтизм художника он сравнивает с романтизмом Гофмана. А совсем недавно один эмигрантский художник заявил, что Шемякин — это коммерческое, салонное искусство...

Что ж, художники и критики, равно как и мы с вами, читатель, несут на себе бремя страстей человеческих. И потому не будем удивляться, что живописец, чьи полотна продаются по двадцать-тридцать, а то и по пятьдесят тысяч долларов, вызывает не только поклонение у его собратьев по кисти, но и куда более "земные чувства".

В свободном мире каждый наделен правом изрекать все, что ему вздумается: великие истины, равно как и полнейший вздор. Так что, кем хотите, тем и считайте художника Шемякина: хотите — гением, хотите — салонным ремесленником, хотите — бизнесменом от искусства, умеющим недурно потрошить кошельки своих нью-йоркских поклонников.

Но по тому же праву на субъективные оценки, хочу и я окинуть взором все сделанное художником — его сотни полотен, его скульптуры, его акварели и натюрморты, его буйно-причудливую, иногда на грани болезненности, фантазию, его игру красок, подобных оперению тропических птиц, его манию к эпатажу и обнажению страстей, — так вот для того, чтобы все это хоть как-то оценить, приходит мне на память одно-единственное слово — не русское, не английское и даже, вообще, не европейское, — а слово ивритское, пришедшее, вероятно, из Библии. Это слово — "эдгар", что по-английски означает "челендж", а по-русски переводится как "вызов".

Я думаю, что Шемякин со всем, что им создано, это художник вызова. Даже внешне (в своем особом, шемякинском одеянии) он — сама амбициозность и вызов. Вызов всему обыденному, традиции и рутине, всяческой ровной глади, по которой так легко и беззаботно катиться художнику, чьи картины продаются по пятьдесят тысяч долларов за штуку.

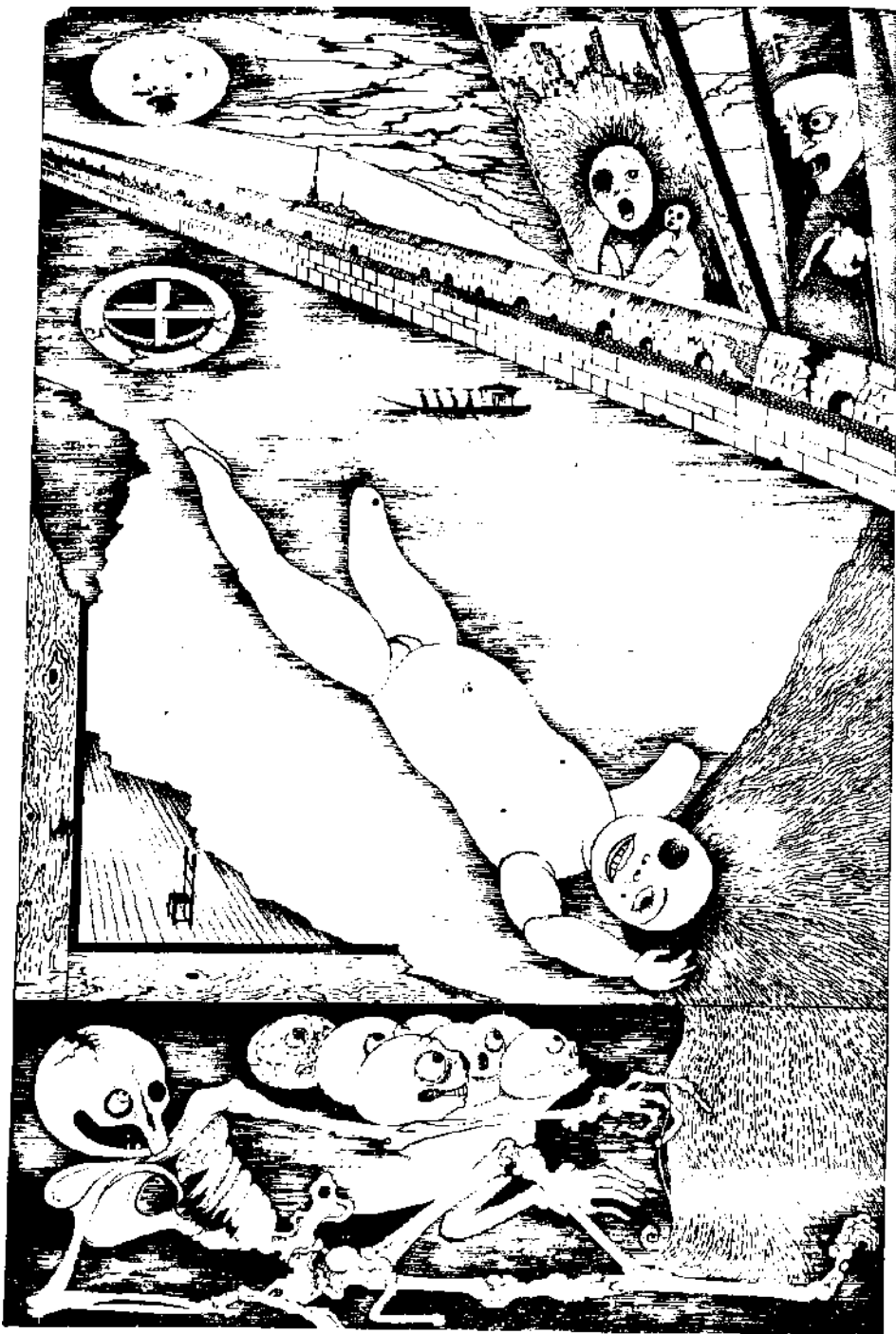
Есть, однако, в натуре Шемякина нечто противоречащее его внешнему облику (этакого супермена и прожигателя жизни из ночного Сохо) — это образ жизни художника, его почти нечеловеческая способность работать, работать "по-черному", работать "до седьмого пота". Может быть, благодаря этой далеко не всем известной его способности он только и смог стать тем, кем он стал сегодня.

Да, он не только художник, но и человек вызова. Родился в Грузии, мытарствовал по России, по самому дну той российской жизни, какое не каждому дано было изведать, — пока не стал художником. Но не советским, не подсоветским (с режимом никогда не сотрудничал), — не было для него ни СССР, ни Ленинграда, а была Россия и Питер, где прожил последние годы перед отъездом и по которому рыдает и по сей день, и куда, может, вернулся бы, если бы дали работать и оставаться самим собой.

То был 1972 год, а нынче уже 1987 — 15 лет славы, мытарств и исканий. Во Франции было достигнуто все, о чем только дано мечтать художнику. Как написали бы в старом романе: "Шемякин покорил Францию".

Но все было брошено ради Нью-Йорка. "Столица мира". "Город желтого дьявола"... — называйте его, как хотите, но настоящее искусство делается здесь", — говорит художник. И начинает как бы все сначала. Но это лишь кажется, что "сначала". Мы видим все тот же вызов, эдгар, челендж, — и в его новых, теперь уже нью-йоркских работах, и в его суждениях о мире, и в его непривычной для Америки российской широте, и в его апатирующем одеянии (о котором не преминут вам напомнить его недоброжелатели). И так же, как всегда: кто-то преклоняется, кто-то шокирован, кто-то завидует. Он же идет своей дорогой, оставаясь верен самому себе.

В. ПЕТРОВСКИЙ



Соотношение пространств

M. Chelintsev 1985



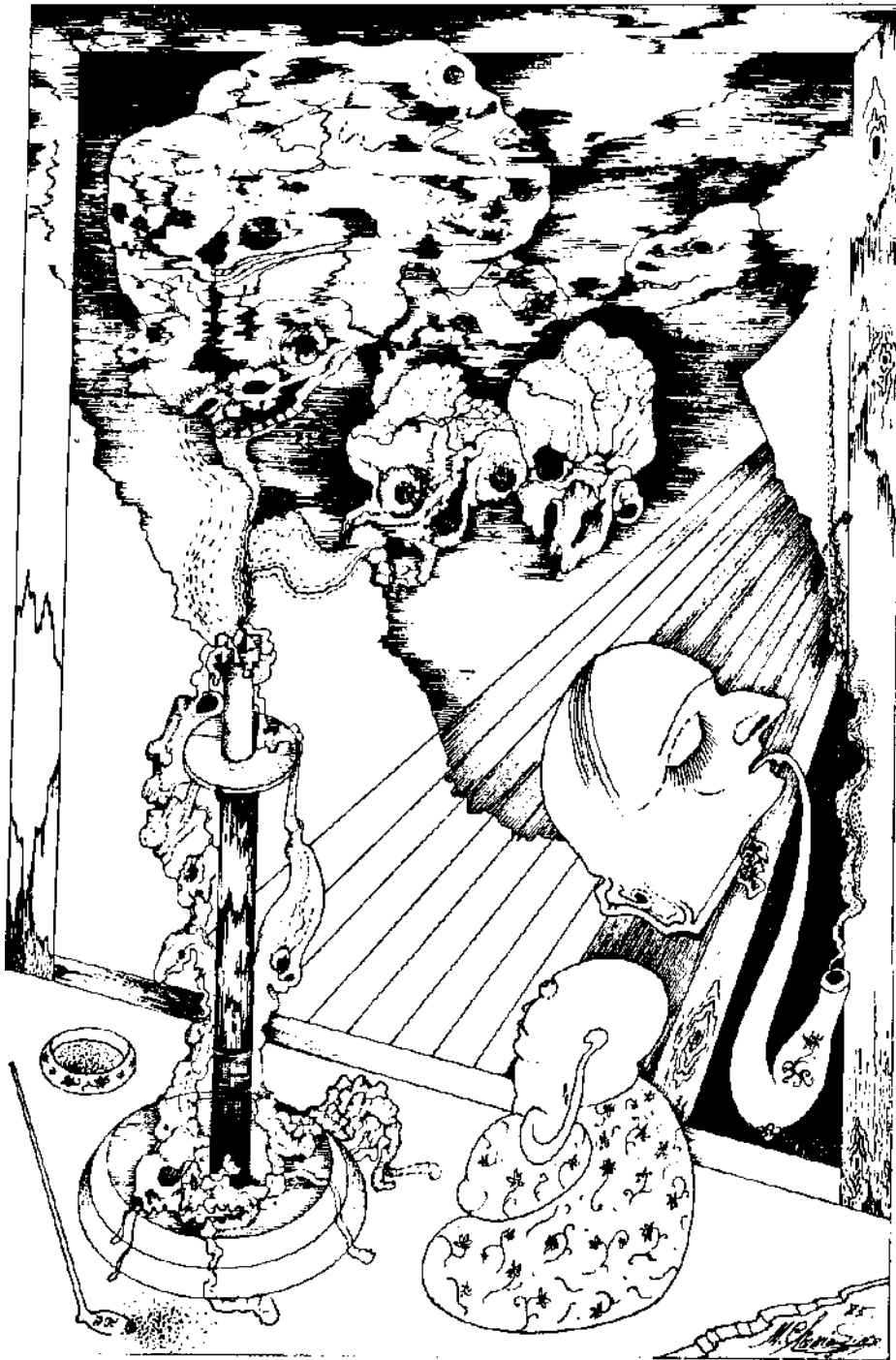
Баллад старинных обновленье



В венке имен



Пласты обнаженных раздумий



Сонетной формы дисциплина



Пространство

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН — родился в 1932 г. в Киеве. Окончил сценарные курсы. В 1962 г. опубликовал в журнале "Юность" рассказ "Дом с башней". В 1972 г. по сценарию Горенштейна Андрей Тарковский снял фильм "Солярис". По сценариям Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако ни одного прозаического произведения после 1962 г. в России опубликовано не было. С 70-х годов Горенштейн начинает систематически публиковаться на Западе. В журнале "Время и мы" были напечатаны повесть "Искушение" (№ 42), пьеса "Бердичев" (№ 50) и другие произведения. В настоящее время живет в Западном Берлине. В издательстве "Страна и мир" вышла книга Ф.Горенштейна "Псалом".

ВЛАДИМИР МАТЛИН — родился в 1931 году. Окончил юридический факультет МГУ. Семнадцать лет работал редактором и сценаристом на киностудии "Центрнаучфильм". По сценариям Матлина снято около десяти короткометражных фильмов. С 1975 года работает на радиостанции "Голос Америки". Публикуется в русскоязычной и англоязычной печати.

ТАТЬЯНА ФИЛАНОВСКАЯ — по специальности инженер. Эмигрировала из СССР в Канаду, где и живет в настоящее время. Неоднократно выступала со стихами на страницах журнала "Время и мы" (№№ 19, 34 и других).

А. ЛЕИН — эмигрировал из СССР в Западный Берлин. В журнале "Время и мы" печатается впервые.

БОРИС СЕГАЛ — профессор психиатрии. Окончил Первый Московский медицинский институт. Работал в различных лечебных учреждениях Москвы. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Наряду с клинической работой занимался изучением роли личности и социально-психологическими проблемами. Руководил лабораторией клинической психологии. В США эмигрировал в 1972 году. С 1973 по 1977 год был научным сотрудником Гарвардского университета (Русского центра). В настоящее время профессор психиатрии Нью-Йоркского колледжа. Автор 150-ти работ. Последняя — "Исследование в области психологии истории семьи и личности".

ЮРИЙ АРАНОВИЧ — в прошлом один из ведущих советских дирижеров. Из Советского Союза репатриировался в Израиль. В настоящее время руководитель двух европейских коллективов: симфонического оркестра Кельна и Королевской филармонии в Стокгольме.

М. ШНЕЙДЕР — родился в Литве, в 1925 году. В 1950 году окончил Вильнюсский университет. Преподавал русскую литературу в школе. В Израиль приехал в 1984 году. Работает в Реховоте, в научной организации "Зезам", где занимается исследованием еврейской культуры в России.

ЕФИМ ЭТКИНД — писатель, литературовед, переводчик и критик. Во время войны воевал на Карельском и Третьем Украинском фронтах. До отъезда из СССР — член Союза писателей. После войны преподавал в ленинградских вузах, был профессором Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена. В настоящее время живет в Париже, выступает с лекциями в ряде западных университетов. Под редакцией Е.Г.Эткинда впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С.Пушкина. Под его же редакцией готовятся переводы М.Ю.Лермонтова. Широко известна его книга "Записки незаговорщика", посвященная судьбе творческой интеллигенции в СССР.

ЛЕОНИД ГРОССМАН — см. вступление к эссе "Исповедь одного еврея".

Digest for the 92nd issue of "VREMYA I MY" (Time and We)

FRIDRICH GORENSTEIN, "Sonkiller".

Scenes from a drama from the times of Peter the Great's reign. The main theme—turning point of the Russian history—reign of Peter I, who is represented as a founder of the Russian Empire. The murder of his son—crownprince Alexis—is a victory imperial over Russian national beginning and is giving us a clue to a better understanding of contemporary Russia.

VLADIMIR MATLYN, "Scientific truth".

The story is based on historic facts: during the WWII the Nazis offered a prominent Jewish historian to give a scientifically truthful answer to a question: are the "karaim" Jews? The Faith of the whole nation depended on his answer.

TATYANA FILANOVSKY, "Continuation of Conversation". Poetry.

A. LEIN "Dream Over a Town". Poetry.

HOPELESS CONTRADICTION OF GENERAL SECRETARY

Discussion of M. Gorbachev with a group of Soviet writers (the text became known through the channels of SAMISDAT) and comments of the TIME and WE's editors. It's obvious from the discussion that the new Soviet leader is really trying to introduce in the USSR certain reforms but faces tremendous resistance from the apparatchiks in the Communist Party.

VICTOR PERELMAN, "Thoughts about re-emigration".

The author analyses motives behind the return of a group of Soviet emigrants back to the USSR. The main motive—lack of motivation of the emigration.

BORIS SEGAL, "Cad-Syndrome, or the End of Our Civilisation".

Author—professor of Psychiatry at New York City College—analyses troubling symptoms of the crises of the contemporary civilisation.

Y ARANOVICH, "Do You Like Wagner's Music?"

M. SHNEIDER, "Yury Aranovich Versus Richard Wagner".

Discussion on a subject of creation and philosophy of the great German composer. The main subject of discussion—should the anti-semitism of Wagner influence our attitude towards his music.

EFIM ETKIND, "Poetry and Truth".

Interview with the well known literary authority and critic of the Third Wave' on the subject of "Literature in free and totalitarian worlds"

LEONID GROSSMAN, "Confession of a Jew" (Experience of a novel-research).

Correspondence between Feodor Dostoevsky and literary critic and writer A.U. Kovner revealing little known side of the great writer's view of the world.

THE CZARS DAUGHTER OR IMPOSTOR.

A historic account of the life of someone named Managan Chakovskaya, the self-proclaimed daughter of czar Nikolai II.

On the cover a collage by Vagrish Bakhchanyan on the subject of some homesick emigres returning to the USSR.

Исправление ошиОки.

8 91-м номере журнала, в статье Ефима Эткинда "Исповедь Шенапана" (стр.234) во фразе о Е.П.Брандисе допущена ошибка. Следует читать: "В нашем кругу роль, близкую к роли Хмельницкого, сыграл Е.П.Брандис: он свидетельствовал на суде против прежних своих коллег, даже друзей - Ахилла Лееинтона, Руфи Зевиной (Зерновой) и Ильи Сермана, в результате чего, например, И.Серман, осужденный до того на 10 лет лагерей, получил 25".

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

БОРЬБА В КРЕМЛЕ —

ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

СОДЕРЖАНИЕ

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ — О МИРЕ**

**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ**

**ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО
ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ**

**ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?
КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!**

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ**

БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО

ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ

КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 High wood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимеруаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль;
Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-
Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт;
Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель Авива; Что нужно
бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили...
Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал;
Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука
жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша
эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака
плывут, облака

Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA.

Цена книги 10 долларов.

В книге 254 стр.

Илья ЗЕМЦОВ
СОВЕТСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Словарь-справочник. В нем проанализированы основные механизмы советского языка и, следовательно, советской пропаганды.
431 стр. — 8 ф.ст.

Дора ШТУРМАН и Сергей ТИКТИН
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ЗЕРКАЛЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА

Самый полный сборник анекдотов, когда-либо изданный в Зарубежье. Статьи в этой книге (вступительная ко всему материалу и затем перед каждой из глав) дают анализ картины, возникающей в анекдотах
470 стр. — 12.50 ф.ст.

В.Д.НОСОВ
"КЛЮЧ" К ГОГОЛЮ

Опыт художественного чтения
Вступительная статья Бориса Филиппова

Апология Гоголя как религиозного мыслителя и проповедника. (Серия "Самиздат").
140 стр. — 3.50 ф.ст.

Юрий ЛЮБИМОВ
СЦЕНИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ "МАСТЕРА И
МАРГАРИТЫ" М.А.БУЛГАКОВА

Вступительная статья Анджея Дравича

Сделанный Юрием Любимовым в Московском театре на Таганке спектакль был событием в советской театральной жизни, а сегодня стал уже легендой. Текст инсценировки печатается впервые.
104 стр. — 3 ф.ст.

М.И.ВОЛОДАРСКИЙ
СОВЕТЫ И ИХ ЮЖНЫЕ СОСЕДИ ИРАН И
АФГАНИСТАН (1917 - 1933)

Предисловие С.Могилевского
Книга повествует о событиях, которые отдалены от нас 50-60 годами, но эти события по сей день привлекают к себе самое пристальное внимание. Методы шантажа и провокации, дезинформации и открытой агрессии, к которым СССР прибегал в те годы, остались неизменными
242 стр. — 6.50 ф.ст.

Михаил ХЕЙФЕЦ
ВОЕННОПЛЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Повесть о Паруйре Айриkyне
Увлекательная книга о лагерном товарище автора, руководителя Национальной Объединенной партии Армении, который сыграл важнейшую роль в истории армянского сопротивления, "внеся в него правозащитные элементы демократии в национальной борьбе".
238 стр. — 4 ф.ст.

Марк ПОПОВСКИЙ
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Он, она и советский режим
"Я пытаюсь разобраться, как извечные отношения мужчины и женщины деформируются под влиянием советских законов, идеологии, советских традиций и судебно-лагерной системы".
(Об этой книге).
458 стр. — 9 ф.ст.

Валерий ФЕФЕЛОВ
В СССР ИНВАЛИДОВ НЕТ!...

Жизнь и судьба инвалидов в СССР и на Западе
163 стр. — 5 ф.ст.

Виктор КОНДЫРЕВ
САПОГИ — ЛИЦО ОФИЦЕРА

312 стр. — 8 ф.ст.

Книга удостоена премии им. Даля за 1985 год

Бранко ЛАЗИЧ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

**"Никита Хрущев, Доклад на закрытом заседании
XX Съезда КПСС"**

Перевел с французского А.Юссен

Никита Хрущев
Доклад на закрытом заседании XX Съезда КПСС
"О культе личности и его последствиях"
164 стр. — 4 ф.ст.

САХАРОВСКИЕ СЛУШАНИЯ

Четвертая сессия

Редактор-составитель Семен Резник

"Четвертые Сахаровские Слушания проходили в Лиссабоне с 12 по 14 октября 1983 года. (...) Все выступления свидетелей и членов жюри записывались на магнитофон. Эти магнитописи легли в основу настоящего издания. (...) На Слушаниях рассматривалось четыре основных вопроса:

1. Положение А.Д.Сахарова в его бессрочной ссылке в Горьком. 2. Нарушение интеллектуальной свободы в СССР. 3. Положение в Польше. 4. Положение трудящихся в СССР".


Как известно, 10 и 11 апреля 1985 года в Лондоне состоялись очередные, Пятые Сахаровские Слушания. Их основная тема: Права человека в СССР — ситуация после Хельсинки. В Приложении к книге приведены: программа заседаний, текст резолюции, а также статьи, опубликованные в газете "Новое русское слово" и в еженедельнике "Русская мысль".

380 стр. — 5.40 ф. ст.

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD

8. QUEEN ANNE'S GARDENS, LONDON

W4 1TU, ENGLAND



**The largest independent
American Russian publication**

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. Половец

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ:

ГЛОБУС. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

ПУБЛИЦИСТИКА. В числе постоянных авторов газеты — обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительств США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Долатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемзин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Европейская хроника), В. Пазарис, Ю. Шаргородский, Э. Колелювич (Израиль).

ЛИТЕРАТУРА. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Ананова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

ГОЛЛИВУД. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в киномире США и других стран.

ЮМОР. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Стоимость годовой подписки в США и Канаде — 33 00, полугодовой — 18 00 дол.
Для оформления подписки необходимо заполнить приводимый ниже купон и
выслать его в адрес издательства «Альманах».

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA


Прошу подписать меня на газету-альманах-ПАНОРАМА на срок: 12 мес. /33.00 дол./
6 мес. /18.00

В Европе, Израиле и Австралии стоимость годовой подписки — 64.00 дол.

Чек или ордер на сумму дол. прилагаю.
Газету прошу направлять по адресу:

Имя: _____ Телефон: _____

Номер дома Улица: _____ Город: _____ Штат: _____ Зип-код: _____



American
Russian
weekly

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1986

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Стоимость годовой подписки в США — 48 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 55 долларов; для библиотек — 69 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE"

409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA. Tel: (201) 592 6155

Цена в розничной продаже — 12 долларов

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот Мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 450 франков; для библиотек — 650; с целью экономической поддержки журнала — 650 франков;

— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 200; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 96 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1986

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

.

.

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

.

.

.

Подпись_

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "Time and We"

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, N J 07605, USA
TEL: (201)592 6155

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE: 409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA
Tel: (201) 592 6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июнь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Набор на композере Аллы Маневич

Первую страницу обложки оформил художник
Вагрич Бахчанян.

Иллюстрации, опубликованные в разделе "Вернисаж "Время и мы" и на четвертой странице обложки, а также подписи под иллюстрациями, взяты из книги Михаила Юнга "Пространство"

На четвертой странице обложки:
Михаил Шемякин "Перелет из НИЧЕГО в НИЧТО"

